

ЛЕВ ДРУСКИН

ЛЕВ
ДРУСКИН

У неба на виду

У неба на виду

Избранные стихотворения

**К 100-ЛЕТИЮ
ЛЬВА ДРУСКИНА**

Лиле

ЛЕВ
ДРУСКИН

У неба на виду

Избранные стихотворения

Журнал «Звезда»
Санкт-Петербург
2021

ББК 84.Р7
Д 76

Редактор *Я. А. Гордин*

© Л. С. Друскин (наследники), 2021
© А. М. Городницкий, вступительная статья, 2021
© М. П. Петров, послесловие, 2021
© ООО «Журнал «Звезда», 2021

ISBN 978-5-7439-0268-2

«Я ВЕРНУСЬ В СВОЙ РАССТРЕЛЯННЫЙ ГОРОД»

Лев Савельевич Друскин, замечательный русский поэт и переводчик, родившийся в Петрограде в 1921 году, неразрывно связан с отечественной литературой. Его детские стихи цитировал Самуил Маршак еще на Первом съезде советских писателей:

Будь то молнии иль змеи,
Будь то тигр или кит,
Человек все одолеет,
Человек все победит.

Ученик Самуила Яковлевича Маршака, у которого он учился азам стихосложения в довоенные годы в Ленинградском дворце пионеров, он был пожизненно прикован к постели и инвалидной коляске тяжелой неизлечимой болезнью. Он пережил в Ленинграде первую самую страшную, блокадную зиму. Его вывезли из осажденного города по ледовой ладожской трассе весной 1942 года. Примерно в то же время по той же Дороге жизни вывезли и меня — восьмилетнего.

Нас вместе с ним в метельной снежной пыли,
В блокадные крутые времена,
По Ладоге когда-то вывозили
Полуторки, промерзшие до дна.
Мы вместе с ним в шестидесятых жили
Просветом в нескончаемой ночи.
Нас вместе с ним гэбэшники гнобили
И вербовать пытались в стукачи.
Жизнь у обоих складывалась сложно —
Другим такой не пожелаю впредь.
И мне, как и ему, потом, возможно,
Придется на чужбине умереть.
И в новом веке времена суровы.
И, если одиноко мне подчас,
Я Друскина стихи читаю Левы,
Поскольку много общего у нас.
С ним разные отпущены нам сроки,
Но на исходе сумрачного дня,
Его я перечитываю строки
И думаю, что это про меня.

Может быть, поэтому я не могу спокойно читать его дневники с воспоминаниями о блокаде. Вот короткие отрывки из них.

* * *

Голод. Братские могилы. Мертвецы без гробов. Везут на саночках. Сзади два-три человека. Сжатые зубы, стиснутые кулаки, бледные ввалившиеся щеки. Один из них останавливается, шатается, хочет упасть. Двое других поддерживают его. Несколько минут они отдыхают. Потом медленно бредут дальше. Ленинград 1941 года.

* * *

Мама кладет на стол небольшой кусок хлеба и делит его пополам: одну половинку — на сегодня, другую — на завтра. Затем берет сегодняшнюю половинку и делит ее на три кусочка: на завтрак, на обед, на ужин. Потом берет каждый кусочек и делит его на три части: одну для себя, другую для меня, третью для бабушки:

У меня была бабушка Мирра —
Мама мамы, начало начал.
Рвались бомбы, дрожала квартира,
И от голода город кричал.
Баба Мирра к окну подходила,
Вниз глядела сквозь холод стекла,
И за каждого Бога молила...
Что еще она сделать могла?
Ветер памяти треплет страницу,
И кричит, и за горло берет:
Мне равнина огромная снится,
Я с ключами стою у ворот.
Вьется очередь — люди без плоти,
И стою я на страже в раю...
Я бы всех отстранил: «Подождете!»
И впустил туда бабку мою.

Жизнь и творчество Льва Друскина, одного из наиболее значительных русских поэтов минувшего века, неразрывно связанные с его родным городом, стали органическим, необходимым звеном между поэтами Серебряного века и новым поколением питерских поэтов шестидесятых годов. Унаследовав от Маршака и дружившей с ним Анны Андреевны Ахматовой привязанность к традиционной русской силлабо-тонической поэзии, он, по существу, явился предтечей ленинградской школы поэтов-шестидесятников, с которой связаны имена Иосифа Бродского, Александра Кушнера и Виктора Сосноры. В отличие от знаменитой московской эстрадной поэтической школы шестидесятников, стремившихся ошарашить слушателей и читателей громким звучанием стихов, неожиданными рифмами, метафорами,

рами и ломкой размера, ленинградская школа ориентировалась не на внешний эффект стихов, а на их внутреннюю глубину.

Неслучайно Лев Друскин, который немало стихов посвятил своим предшественникам — Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Самуилу Маршаку, по строю своих стихов ближе не к ним, а к упомянутым ленинградским шестидесятникам, которых он значительно старше, поскольку принадлежит к поколению Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. Замечательный бард-шестидесятник Александр Дулов написал песню на его стихи: «Еще тебе не поздно на палубу взойти».

Может быть, именно поэтому большая комната в коммунальной квартире, в старом доме в начале Московского проспекта, неподалеку от набережной Фонтанки, где жила тогда гостеприимная семья Друскиных — сам Лева и его замечательная жена Лиля, превращалась в шестидесятые годы в шумный литературно-театральный салон и всегда была полна разнообразных гостей.

Здесь вечно толклись молодые поэты из разных литературных объединений: и мы, питомцы Глеба Сергеевича Семенова, и поэты из ахматовского окружения Анатолий Найман, Евгений Рейн, Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев. Здесь бывали художники Михаил Беломлинский, Олег Целков, артисты Сергей Юрский, Александр Хочинский и многие другие. Постоянно звучали стихи, песни и яростные словесные баталии.

Вполне естественно, что это небольшое вольнодумное пространство в несвободной стране не могло не стать лакомым куском для КГБ, тем более что внедрить стукача в этот всегда настезь распахнутый, доверчивый дом, где нередко бывали иностранцы и который сами гэбэшники называли «проходным двором», ничего не стоило. Питерский дом Друскиных оказался «под колпаком», а на писательской даче в Комарово на Льва Друскина усердно стучали коллеги по цеху.

Дальнейшие события вполне закономерны. В 1980 году на квартире поэта Льва Друскина прошел обыск под предлогом поиска наркотиков. Помимо запретной зарубежной литературы у Друскина были изъяты рукописи его мемуаров, в которых раскрывалась закулисная жизнь Союза писателей. Впрочем, к инвалиду Друскину органы проявили гуманность: его не арестовали, но он был лишен гражданства и вынужден эмигрировать.

Немалую роль в эмиграции Льва Друскина, а точнее в его насильственном выдворении за рубеж, сыграли упомянутые выше коллеги по цеху. Решением правления он был немедленно исключен из Союза писателей. В газете «Вечерний Ленинград» появилось обличающее его открытое письмо «Два лица Льва Друскина» за подписями членов бюро поэтической секции. Часть этих подписей была сфальсифицирована.

Лев и Лидия Друскины вынуждены были переехать в Германию, в город Тюбинген, где Лев Друскин прожил еще десять лет, продолжая активно писать. В Тюбингене чете Друскиных удалось найти новых друзей, переводчиков и издателей, которые приложили немало усилий для популяризации его поэзии в Германии. Большую помощь в этом оказал профессор славянской филологии, доктор философии Людольф Мюллер. Главную роль в его жизни и творчестве — и в Ленинграде, и в суровых условиях эмиграции — сыграла его неизменная спутница жизни и постоянная помощница Лида.

Благодаря помощи немецких друзей у него вышло шесть книг поэзии и прозы на немецком, а также две книги на русском языке: книга воспоминаний «Спасенная книга» (Лондон, 1984) и книга стихов «У неба на виду» (Тенафлу (N. J.): Эрмитаж, 1985). Лев Друскин попал в первую десятку русских поэтов XX века, переведенных на немецкий язык, однако для русских читателей он много лет был недоступен. Только в 1993 году в ленинградском журнале «Нева» вышла небольшая подборка его стихов.

Он умер 26 ноября 1990 года в Тюбингене после тяжелой болезни и двух операций. В 1993 году в России, в библиотеке журнала «Звезда», вышла его книга воспоминаний «Спасенная книга», в которую включены стихи из книги «Последняя тетрадь».

Исполнилась его давняя мечта. Он снова, как когда-то в конце войны из самаркандской эвакуации, возвращается в свой родной, великий и многострадальный город. На этот раз — навсегда.

Я вернусь в свой расстрелянный город,
В злую юность свою — в Ленинград.
И когда мне исполнится сорок,
Он прекраснее станет стократ.
А когда пятьдесят мне подкатит
И сдавать мое сердце начнет,
Он меня, словно ветер, подхватит,
Петушиное слово шепнет.
Будет день этот в облачной пене,
Будет память, как шрам ножевой, —
И спущусь я к Неве по ступеням,
И воды зачерпну я живой

Александр Городницкий
30. 03. 2020

СТИХИ
РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

* * *

Эшелон составлен не по форме
И набит осколками семей.
Я лежу на стоптанной платформе,
На носилках памяти моей.
Сняли, просьб и стонов не послушали.
«Помираешь. Тут не до возни».
Мама, вся от голода опухшая,
Мается: «Сынок... Не довезли...»
И берут носилки два солдата.
В горле уголь колок и горяч.
Им и тем, кто виден мне, кто рядом,
Я твержу: «Привет из Ленинграда!» —
Шепотом, срывающимся в плач.
Я держусь, хоть в мерное движенье
Входит боль, как всполохи огня.
Я горжусь, что с горьким уваженьем
Эти люди смотрят на меня.
Сторонись: проносят ленинградца.
Ленинградца — одного из них.
Только надо очень постараться,
Чтобы слез не видели моих.

Был соперник счастливый
У меня до войны.
На него ты глядела
Глазами жены.
Ты ладонь его грела
В мороз у щеки,
И сжимался я весь
От обидной тоски.
Он убит.
Он зарыт.
Он пропал на войне.
Никогда не войдет он
К тебе и ко мне.
И не он твои волосы ворошит,
И сидит у стола,
И газетой шуршит.
И обнять тебя может
И ночью, и днем...
Он убит.
Он зарыт.
Я жалею о нем.
Никогда не войдет он
К тебе и ко мне...
Почему же я слышу
Шаги в тишине?
В окна — горькая мгла,
В двери — ветра порыв,
И ушанка легла,
Мою шапку прикрыв.
Он сидит у стены,
У стола моего,
И глазами жены
Ты глядишь на него.

А мы разжигали
Костры эти тоже —
На рыжих коней
Они были похожи.
Веселые, жаркие,
С гривой торчащей...
Да только на них
Не уедешь из чащи.

Хрустят они сучьями,
Фыркают грозно:
«Садитесь, садитесь,
Покуда не поздно!»
Скрипение седел
И повод свистящий...
Да только на них
Не уедешь из чащи.

Хотят они неба
Ноздрями касаться,
Зовут они, просят
И глазом косятся.
Хорошие кони,
И пыл настоящий...
Да только на них
Не уедешь из чащи.

На них не уедешь,
На них не умчишься...
Что ж ходишь ты, рыжий,
И глазом косишься?
Сидим под сосною,
И фыркают кони
В сквозные и жаркие
Наши ладони.

СКАЗКА

Просвечена до доньшка
И взвешена до камушка...
«Ау, ау, Аленушка!»
«Иду, иду, Иванушка!»
Спешишь дорогой, брошенной
Наивной синей лентою,
К нам, в наши души сложные,
Насквозь интеллигентные.
Пойми: куда ты просишься?
Зачем в табачном омуте
Ты сквознячком проносишься
По модерновой комнате?
На миг улыбкой тронувши
Суровый рот у краешка...
«Ау, ау, Аленушка!»
«Иду, иду, Иванушка!»

* * *

На сцене, под прожекторным лучом
Лежит Тибальд, заколотый мечом.
Беспомощно, как раненые дети,
Вокруг него рыдают Капулетти.
А к горлу подкатило и щемит...
И милосердный занавес шумит,
Их горе заслоняя. И мгновенно
Тибальд привстал на левое колено,
Мигнул Джульетте – собственной жене,
Меркуцио похлопал по спине,
И мимо – в дверь, и закусить на славу
Спешит домой, мурлыча Окуджаву:
«Один солдат на свете... Ти-ра-ра...»

И мне бы так со смертного одра!

Борису Смоленскому

— Кем ты хочешь быть на бригантине?
— Кем хочу? Конечно, капитаном!
— Ай да паренек! Губа не дура!
Вот он капитан — старик усатый,
Приручил муссоны и пассаты,
Он во льдах и в Индии — как дома,
В трюме у него бочонок рома.

— Кем ты хочешь быть на бригантине?
— Кем еще? Да боцманом, пожалуй.
— Опоздал и тут, глаза протри-ка:
Вот наш боцман — важно ходит с дудкой.
Он к штормам и ругани привычен,
Кулаки болят от зуботычин.

— Кем ты хочешь быть на бригантине?
— Я тогда согласен и матросом.
— Вся команда набрана, дружище,
Пятый день мы новых рук не ищем.

— Кем ты хочешь быть на бригантине?
— Ну хотя бы юнгой... юнгой можно?
— Даже юнга есть — вон шваброй драит.
Он работать должен сколько влезет,
Выносить и брань, и колотушки,
Но зато, когда на мачту влезет,
Мир у ног, а небо у макушки.

И уходит белая громада.
Все на месте. Никого не надо.
Тает в море моря украшенья,
И так горько слушать утешенья:

«Потерпи немного, станешь юнгой,
А потом, конечно, и матросом,
А потом и боцманом, пожалуй,
Ну а там, глядишь, и капитаном».

* * *

Муравей — Самсон, Поддубный скромный,
Как ты тащишь этот груз огромный?
Как, должно быть, дышишь горячо!
В сотни раз готов я сократиться,
Чтоб с тобою рядом очутиться,
Чтоб подставить и свое плечо.
Дерево, в котором два обхвата,
Что ты взмыло надо мной крылато?
Ну зачем же так воображать?
Думаешь, я мал и не достану?
Подружись со мной, я рядом встану,
Чтобы вместе небо поддержать.
Теплый ветер трогает мне веки,
Вены переполнились, как реки,
Зоркой кровью, радостью живой.
Кто со мною породниться хочет?
Муравей у ног моих хлопочет,
И бушует дуб над головой.

* * *

Спроси стрижей:
– Куда, стрижи?
– Мы из Кижей
Летим в Кижь.
Путем кружным
Стрижиным –
К маковкам
Кижиным.
Те маковки
Не маковы,
Их в облака обмакивали,
Их солнышком обмазывали,
Со всех сторон показывали.
И с этой – ох,
И с этой – ах,
А сверху лето – все в стрижах.
Грустишь?
О чем, скажи нам?
Ведь ты ж
Не стриж,
Как мы стрижи,
Не полетишь,
Как мы, в Кижь
Кружным путем
Стрижиным.

* * *

Сегодня, в колокольный день Шекспира,
Я рано лег. Какая-то забота
Меня давила. Три-четыре строчки
Я повторял и все не мог понять:
Удача это или неудача?
И вот, когда мохнатый, теплый сон
Меня накрыл, я грелся у камина
С резными львами, а над ним сушился
Мой югославский плащ за сорок восемь
Усердно заработанных рублей.
Дверь скрипнула, но я не оглянулся —
Я всей спиной понял, кто вошел.
И молча мы сидели на скамье.
Не шевелясь, я видел краем глаза
Его большие умные ладони
И на камзоле винное пятно.
А из кармана смятые листочки
Торчали — ну совсем как у меня
Или у Саши Кушнера, хоть знал я,
Что это «МАКБЕТ» или «МНОГО ШУМУ
ИЗ НИЧЕГО». И что-то в этом было
Щемящее, роднящее поэтов.
И снова те же три-четыре строчки,
Поднявшись, мне защекотали губы.
И я взглянул впервые. Он смотрел
С внимательным и добрым ожиданьем.
И стыдно стало мне. И я проснулся.

ПЕРВАЯ КНИЖКА

Мой старый учитель снимает калоши
И шапку снимает, и шарф, и пальто.
Меня от почтения просто колотит
И я говорю невпопад и не то.
«Мой старый учитель, какой же вы старый!
Теперь не посмел бы я вас огорчать.
Я трудный был, правда? Со мною хватало...»
А он: «Знаменитый — и трудно опять».
«Какой знаменитый? Ведь первая книжка.
Пять тысяч тираж — и в помине-то нет».
А он все свое повторяет: «Мальчишка —
И вот тебе, нате! — известный поэт».
«Какой же известный?...» За окнами вьюга,
Горластому ветру не крикнешь: «Молчи!»
Но, тучу размыв, ободряя друг друга,
В седое стекло застучали лучи.
И солнце плечом занавеску срывает,
Надежда идет по весенней земле,
И старый учитель мне важно кивает,
И первая книжка лежит на столе.

* * *

Спасибо за движение!
Что может быть блаженнее?
Выходят на сближение
Далекие поля.
Выходят на сближение,
Меняют положение —
В их царственном кружении
Участвую и я.

Планета не смущается,
Что так перемещается.
Движенью все прощается —
Теперь я вечно с ним.
И вдруг теней мелькание
Прервалось, как дыхание,
Исчезло, как дыхание,
И мы уже стоим.

Но что мне грядки сытые,
Меж двух строений вбитые,
Скамейки, насмерть врытые
У тихого крыльца?
В моем воображении
Дороги натяжение,
Во мне гудит движение —
И нет ему конца!

* * *

Касанье взглядов и локтей
И вдруг — до гнева, до испуга —
Непониманье двух людей,
Как бы теряющих друг друга.
И мы на узкой простыне
Тоскуем — каждый за стеною.
(Не разговаривать же мне
С твоей повернутой спиною.)
Грозой разбитая семья,
Разбросанные вихрем вьюжным
Две ледяные глыбы... Я
На северном, а ты — на южном.
Лежу один, глаза закрыв.
Какая боль — вы не поймете!
Деленье клетки — на разрыв,
Живое раздвоенье плоти.
Два существа, два бытия,
Отвергнувших прикосновенье,
Два разных мира — ты и я,
Два горя, два недоуменья.

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Я проснулся сегодня
В глухом раздраженье...
Раздражало меня
Занавески движенье
И снежок за окном —
Молодой и несмелый:
Отвратительно чистый,
Отвратительно белый.
Все меня в этот день
Доводило до злобы:
И семейство,
И пошлые эти сугробы.
Все валилось из рук,
Было гнусно, отвратно.
Наплевать отчего —
Лучше пусть непонятно.
А когда я оделся,
Злоба вышла со мною.
Отвратительно бухнула
Дверь за спиною.
Я шагаю по лесу
В скрипучей тужурке
И под ноги деревьям
Швыряю окурки.

РЕВНОСТЬ

Разлюбила? Не разлюбила?
Как в глаза этим ветром било!
Там, в раю, у самого моря,
На краю у самого горя.
Изменила? Не изменила?
И меня в тот капкан заманило!
Чет и нечет — и вновь: чет и нечет.
Рвет и мечет любовь, рвет и мечет.
Рядом дышит моя потеря,
Я смотрю на нее со слезами,
И выходит из-за портьеры
Мавр с налитыми кровью глазами.
Он над спящею серый-серый.
Он уходит опять за портьеру.
Почему ты так ровно дышишь?
Почему ты меня не слышишь?

* * *

Там ива, опираясь на костыль,
Стояла хмуро — горькая калека.
Теперь уж я немного поостыл,
А раньше все в ней видел человека.
И так жалел! Забрать бы груз обид,
Шагнуть с тропинки, взять ее за локоть
И привести под крышу, и не трогать:
Пусть отойдет — сама заговорит.
Пылают в печке жаркие дрова,
И грусть не к месту, и тоска некстати...
Ну что опять ты выдумал, мечтатель?
Стыдись, чудак, седая голова!
И я, уже мешая явь со сном,
Твержу себе (а боль не утихает):
— О чем ты? Это ж дерево вздыхает,
Не человек горюет за окном.

* * *

Не пусти меня по миру, по миру,
А отправь меня по морю, по морю —
К новым замыслам, к новым словам,
К самым лучшим твоим островам.
Надоели мне стужи январские!
Где Курильские? Где Канарские? —
С птичьим криком у каменных плеч.
Дай мне вскинуть тетрадь эту парусом.
Отпусти меня в море, пожалуйста,
Губы пресные солью обжечь.

* * *

Когда душа в тревоге чудной
Дрожит, как палец на струне,
Я ухожу на мол безлюдный
Навстречу ветру и волне.
И надо мной, над краем суши,
В смешенье вод и облаков
Парят стремительные души
Давно погибших моряков.
И слово лишнее, отчаясь,
Как рыбка бьется на песке,
Но я его не замечаю
В своей предпесенной тоске.
Парю в безмолвии великом,
Весь — ожиданье, не дыша.
И чайки спрашивают криком:
«Ты чья душа? Ты чья душа?»

* * *

Утро —
Босое, озябшее.
Сутулое, заплаканное небо.
Дождь,
Бормочущий сквозь зубы
Что-то неразборчивое.
В пузырящейся луже
Сиротливо кружится бумажка от конфеты.
Прощай, лес!
Прощайте, печальные сосны
И равнодушное море!
С мокрой осенней толпой
Мы протискиваемся в холодную электричку.
Твои мокрые ладони
Греются в моей —
Сухой и горячей.
Задрожав, трогается вокзал.
Я закрываю глаза
И мне кажется,
Что мы летим на самолете
Навстречу весне.
Белые радостные облака,
Первый гром над ленинградскими мостами.
Первая весточка,
Первая ласточка...

* * *

Он раскинулся щедро, рубаху сорвав.
Он затылком ушел в лепетание трав.
Погляди, как пристроилась ловко
На груди его татуировка.
Наклонившись легонько, как будто ко мне,
Каравелла стоит на мохнатой волне.
Ну скажи, не об эту ли рубку
Магеллан выколачивал трубку?
Мы на палубу ступим. Пусть спит человек,
Пусть кольшут и нас его вздохи.
Паруса облаками. Шестнадцатый век.
Сколько плыть нам до нашей эпохи!
Доплывем ли? Не скроешь уже седину.
Якорь погнут, и цепь заржавела.
Но кольшется грудь и вздымает волну,
И вздымает волна каравеллу.

НЕВЕСТА ИКАРА

Я убирала дом наш старый,
Со стен сметала сонных мух,
Когда раздался клич Икара
И люди хлынули на луг.
Как в праздник, я в толпу вбежала,
Мне щеки жгло, мне горло сжало,
Я затерялась в кутерьме,
Но разошлись внезапно спины,
Как будто ветер их раздвинул...
А на холме... А на холме...
Ах, этой ночью плыли стены,
Дышали пальцы на груди...
И шепот быстрый и надменный:
«Сама увидишь. Приходи».
Но разве в жизни так бывает,
Бывает разве у живых?
Он к солнцу желтому взмывает
На желтых крыльях восковых.
Он плоть свою переливает —
Как Бог! — в огонь и синеву.
Но разве в жизни так бывает,
Бывает разве наяву?
И в ослеплении великом
Стояла я... И каждый ждал...
И опускался с черным ликом
На землю
Плачущий Дедал.

* * *

Свернем сюда, не надо напрямиком.
О как мне эта улочка желанна!
Вы мне твердите, что она обманна
И кончится нелепым тупиком.
А мне она сейчас, как с неба манна...
Я вас прошу, не надо напрямиком.
Вы сердитесь? А я уже в плену.
Вся звонкая, как просека лесная!
Она уводит в сторону? Я знаю,
Я верю вам... И все-таки сверну.
Но мы сперва закончим разговор.
Так стыдно жизнь разыгрывать по нотам!
Я был еще мальчишкой желгоротым,
Когда меня тянуло в каждый двор.
И мучило и мучит до сих пор:
Что ждет меня за этим поворотом?

МОЙ ДЕД

В веселый день сорокалетия
Так странно думать мне, друзья:
Жил человек на белом свете
И был Лев Друскин, как и я.
Он был, как я, Менахем-Мендл —
Поэт, мечтатель, сумасброд.
И бабка плакалась соседям
И подавала на развод.
Он ничего — чудак — не нажил,
Он так и умер бедняком.
Но ангелы спускались даже
К нему от Господа тайком.
И вот он входит — ты не смейся:
Он первый гость в моем дому.
Он говорит, потрогав пейсы,
Как все здесь нравится ему.
И у тебя прощенья просит,
Что он не в модном сюртуке,
И тост красивый произносит
На непонятном языке.
И я сажусь поближе к деду,
И мы, забывши обо всем,
Ведем ученую беседу —
О том — о сем, о том — о сем.

* * *

Леса набросаны вчерне,
Поля едва намечены —
Они готовы не вполне
И не очеловечены.
И даже моря полоса,
Неудержимо гибкая,
Сегодня утром стерлась вся
И кажется ошибкою.
Как распростертые тела,
Тенистый след за дюнами.
И недоделаны дела,
И мысли недодуманы.
И я стою, как день, устав,
В печальной отрешенности...
На всех деревьях и кустах
Налет незавершенности.

* * *

Литейный цех земли, плавильня,
Где мы лежим — к бруску брусок.
И море нам помочь бессильно,
Валясь в истоме на песок.
И, в зной песка закутав тело,
Шепнув мне лживо: «Не гляди!»,
Ты прикрываешь неумело
Медовый вырез на груди.
Ты притворяешься женою
И главной радостью земной,
Ты обращаешься со мною
Самоуверенно, как зной.
Но жаркий день уже в смятенье,
Темнеет дно песчаных ям
И молча наступают тени,
Оплавленные по краям.

СЮИТА БАХА
«НА ОТЪЕЗД ЛЮБИМОГО БРАТА»

Мы с маэстро, трепетом объятым,
Смотрим одинаково
На отъезд возлюбленного брата
Иоганна-Якова.
Ждут его несчастья и разлуки,
Длинный путь с ухабами.
Вот что будет, — уверяют звуки
И вздыхают жалобно.
Вот что будет (каждый вздох об этом),
Если, вспыхнув лаково,
Увезет холодная карета
Иоганна-Якова.
Лучше бы он дома находился —
Как, бывало, в юности.
И сидел бы с братом, и дивился
Странности и струнности.
Для чего бежать в чужие страны
Из страны Гармонии?
Грустно Иоганну-Себастьяну,
Грустно филармонии.
Очень грустно с музыкой расстаться,
Что, колдуя, плакала.
Очень просим дома мы остаться
Иоганна-Якова.

* * *

Я новый день — мешком на плечи.
Ну кто я здесь? Ни брат, ни сват...
А лес прохладен и застенчив,
И даже как-то простоват.
И мошки сыплются, дурашки,
В травы мохнатую мошну,
И все тропинки нараспашку
В березовую тишину.
И в бликах солнечных по пояс
Лежит, ни тени не тая,
Река, спокойная как совесть,
Как совесть хитрая твоя.

* * *

Я слышу, как скрипит земная ось.
Все судорожной океан зевает,
Все медленнее звезды проплывают...
Остановилось.
Смерзлось.
Не сбылось.
Ну вот, мы все и умерли на свете.
Холмами — птиц стеклянные тела.
Лежит на косогоре мертвый ветер
И даже боль, поникнув, умерла.
Нет ничего. И только холод вечен.
Но что это? Стучит, стучит движок.
Опять ты споришь, сердце человечье?
Пора. Мы снова двинулись, дружок.
Отправились, поехали, поплыли
Рекой надежд, дорогами обид...
Осыпан лоб прохладной звездной пылью,
И ось земная больше не скрипит.

* * *

Виктору Борисовичу Шкловскому

Нас Летний сад не водит за нос —
Он не обманщик, не шутник.
И вот уже двуликий Янус
В осенней горечи возник.
Я — человек, к нему идущий,
Не плоть, а тонкое стекло...
Два глаза видят век грядущий,
Два — все, что былью поросло.
Горит весельем, в горе тонет
Четырехглазый этот взгляд:
Татарской бурей мчатся кони,
Над ними — спутники летят.
Зачем же собирать улики?
Не ройся в книгах — ни к чему.
Он не двуличный, он двуликий,
И я завидую ему.
Как юный лик высок и пылок!
А в старом — сила мудреца.
Я тихо тронул свой затылок:
А нет ли там еще лица?
По желтым листьям бродят блики,
Перемешались век и миг.
Стою печальный, одноликий,
А мир вокруг тысячелик.

* * *

Зачем тоскуешь серыми глазами?
Я только твой. Я рядом. Как всегда.
И ты, вздохнув, берешься за вязанье,
А я иду смотреть на поезда.
За поворотом прячутся покорно
Печальный дом и женщина в окне.
Дрожит, дрожит дощатая платформа
И эта дрожь передается мне.
Над полотном — зеленый и янтарный.
Сто выюг, сто вихрей их не замели.
Мне все равно — курьерский иль товарный:
Вагоны пахнут горечью земли.
И забываю я о постоянстве,
И лживых обещаний не даю,
И ветер странствий, добрый ветер странствий
Берет в ладони голову мою.

* * *

Леса темные провалы,
И, завидя нас двоих,
Катят бочки пивовары
В острых шапочках своих.
Эта влага не в новинку,
В сердце горечи плеснем.
Рип Ван Винкль, Рип Ван Винкль,
Неужели мы уснем?
Прямо тут, с асфальтом рядом,
Сев на холмик травяной,
Привалившись к Ленинграду
Ты плечом, а я спиной.
Белой пены ворошенье,
Отказаться нету сил.
Искушенье, искушенье —
Сам у гнома попросил.
Не засудят, не осудят:
Восемь бед — один ответ.
Может, внуки и разбудят
Через восемьдесят лет.

УТРО В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

В окно влетают с гулом поезда.
Ты спишь — тебе уютно в этом гуле.
Твоя рука на низкий подоконник
Легла, как пятистишье. За окном
Высокие, ученые деревья.
Смешно! Они по-фински и по-русски
Умеют говорить. А по-арабски?
Конечно, да. Ведь там, на чердаке,
Две ласточки пристроились. Они
Сюда являются уже четвертый год,
И каждый раз — представьте! — из Египта.
Счастливые... Но не счастливей нас.
Усталая моя — ты мой Египет,
И зной, и страсть. Поспи еще немного.
В окно влетают с гулом поезда.
И жаркая на солнечном пятне
Твоя рука лежит, как пятистишье.

* * *

И предложила мне она
В ее укромный дом войти.

Роберт Бернс

Была уютной тишина,
Был ласков пух постели,
И лишь у каждого окна
Крутилось по метели.
Белела книжка на столе,
Но не давалось чтение.
Я знал, что ждет меня во мгле
Мое стихотворенье.
Я вышел в ночь. Завыла мгла,
Завыла волчья стая,
И прямо к небу повела
Меня тропа крутая.
Но злые крылья снегопад
Раздвинет ночью темной.
И я, как двести лет назад,
Увижу дом укромный.
Взметнется тень, огонь в окне
Мелькнет — замру в сугробе.
И милый голос, как во сне,
Меня окликнет: «Роберт!»
Войду, прижмусь лицом, скажу:
«Я верный твой поклонник!»
И белый томик положу
На белый подоконник.

* * *

Скрипит поселок дачный
Обшивкой корабельной.
На соснах, как на мачтах,
Огни святого Эльма.
И если хочешь к звездам,
Нам будет по пути.
Еще тебе не поздно
На палубу взойти.

Мой скарб к земле привязан,
Мои в чернилах пальцы,
Но ты узнаешь сразу
Межзвездного скитальца.
Сотрем друг другу слезы,
Незримые почти...
Еще тебе не поздно
На палубу взойти.

Ну ладно, ну не плачь ты —
Ведь нам нельзя отдельно.
На соснах, как на мачтах,
Огни святого Эльма.
Зачем скитаться розно?
Обнимемся в пути!
Еще тебе не поздно
На палубу взойти.

* * *

Акробаты, акробаты —
Острый почерк мастерства!..

.....

Мы неловки, мы горбаты,
Наши руки — как трава,
Наши ноги — как из ваты,
Наши души трусоваты,
И забраться по канату
Нас заставишь — черта с два!
Но, нисколько не печалься,
Мы садимся за труды
И блаженствуем, качаясь
От звезды и до звезды.
Но зато в моей тетради
Или в книжке, на виду,
Не держите, бога ради,
Я и сам не упаду!

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

* * *

Записная книжка,
Адреса друзей,
Имена, как вспышки
Радости моей.
В суতোлке суток,
В грохоте разлук
Как бы промежуток
Возникает вдруг.
Словно электричка,
Отправляясь в путь,
Каждая страничка
Просит: «Не забудь!»
И не надо — слышишь? —
Губы в кровь кусать.
Что уж тут попишешь —
Нечего писать.
Всяких дел по ворот,
Бед невпроворот,
И не тот уж город,
Да и сам не тот.
А с собой не сладишь,
А прошьет игла —
Седину пригладишь,
Сядешь у стола.
Локтем отодвинешь
Годы и семью
И тихонько вынешь
Молодость свою.
Записная книжка,
Адреса друзей,
Имена, как вспышки
Радости моей.

* * *

Бог порога, Бог двери
И Бог очага,
Вы со мной — не поверю
Ни в какого врага.
Вы со мной, мои Боги,
И беда моя спит...
Кто-то встал на пороге,
Кто-то дверью скрипит.
Не отпряну как птица,
Ничего не скажу —
Не ударю убийцу,
Не поверю ножу.

* * *

Я понял нынче утром,
Что значит белый свет,
Когда я вышел утром
На этот белый снег.
От белого порога
Тропинка вдаль вела,
И белая дорога
Была белым-бела.
Тонули в белом дали,
И белые дома
Опять не понимали,
Что есть на свете тьма.

* * *

Поляны под снегом мокрым,
Запутался ветер в ветках,
Деревья летят по стеклам,
Как тени забытых предков.
Качается чай в стакане,
Катается дыня в сетке,
Размахивая руками,
В купе мое входят предки.
Грохочет бездомный скорый,
Смыкаются звезд зеницы...
Бесплодные разговоры,
Бесплотные проводницы.
Обрывки былых смятений,
Несемся в пространствах стертых,
И тени, о только тени,
И нет ни живых, ни мертвых.

* * *

Лес на марше, деревья на марше –
И на каждом зеленый мундир.
Кто тут старший, скажи, кто тут старший?
Кто над вами отец-командир?
Может, дуб, что суров и прекрасен,
Может, тополь над синей водой,
Может, ясьень, сияющий ясьень,
Может, клен, может, клен молодой?
Но, закрывши ветвями полмира,
Что твердят они – я не пойму:
«Нет над нами отца-командира,
Нам отец-командир ни к чему».
И бреду я тенистой тропею,
В неналаженном щебете дня,
И не строим, а шумной толпою
Окружают деревья меня.

* * *

В сердце корочкой стучащий,
Ты в каком огне окреп,
Хлеб сладчайший,
Хлеб горчайший,
Черный хлеб и белый хлеб?
Ни в одном твоём обличье
Я тебе не изменю,
Хлеб ржаной и хлеб пшеничный –
На столе и на корню.
Пересоленный и пресный,
Ты вошел в мою судьбу.
Так и въеду в рай небесный
У горбушки на горбу.

* * *

Испортился барометр старинный.
Всегда одно твердит, ополоумев.
Уперся стрелкой в бурю, да и только, —
Так и стоит, проклятый, на своем.

Пришел к нам мастер с лупой и отверткой.
Мудрил, бубнил, присвистывал, старался.
Потом назад все винтики поставил
И стрелка снова в «бурю» уперлась.

Тут мастер снял очки и рассердился,
Не стал пить чай, от денег отказался
И так сказал: «Да выкиньте его!»
И мы его забросили в кладовку.

Но в темноте, когда стихает город
И за окном спокойно и бесшумно
Стоят огни — солдатики ночные,
Закрыв глаза, я вижу, как в пыли,
Под рваной шубой, рядом с лампой ржавой,
Лежит он и предсказывает бурю.

И я его упрашиваю тихо:
«Зачем ты так?.. Не надо... Успокойся...
Нельзя же вечно: буря, буря, буря...
Ну замолчи — поверим тишине».

* * *

Мой добрый нож, тебя беру я в руки,
Но нет в тебе ни радости, ни муки.
Ты режешь хлеб и масло, бедный нож,
И никому не страшен ни на грош.
Когда лежишь ты в ящике буфета,
Тебе все ложки вдалбливают это.
На их галдеж ты им твердишь как есть:
«Я друг семьи, я в мирных крошках весь».
Ты как скопец, ненужный для любви,
Ты не узнаешь вкус горячей крови,
Тебя не тронет кровавая ржа...
Я сам подобье хлебного ножа.
О если бы хоть раз светло и страшно...
Но не могу... Мой смиренный стих домашний
В грудь не войдет, сверкая и дрожа.
Я сам подобье хлебного ножа.

* * *

Монета блещет по краям.
Ее в пыли нашел Хайям.
И, обменяв красотку
На чашу смуглого вина,
Глотнул разок, потом — до дна
И стих пропел короткий.

И та монета по векам
Пошла легко, как по рукам,
И канула бесславно.
Но вспыхнула кружком огня
Вдруг на ладони у меня —
Игрушкой забавной.

Ее я вскоре потерял,
Но зря себя я укорял,
Напрасно ты ворчала:
Быть может, на краю земли
Ее Хайям нашел в пыли,
И все пошло сначала.

ДУБ

Он милую землю корнями оплел
И держит ее, как добычу орел.
И, в небо вторгаясь, — морщинистый, вечный —
Шумит он листвой молодой и беспечной.
Так жизни иссякнуть вовек не дано!
И пьют старики молодое вино.
Стучат по столу перевернутой кружкой
И вот уже кружатся с чьей-то подружкой,
И бережно держат у глаз и у губ,
Как милую землю стареющий дуб.

* * *

Кристофу Гляйтеру

Мой заветный город Китеж,
Терема на белом дне.
Все ты знаешь, все ты видишь,
Все рассказываешь мне.
Звезды хищные сверкают,
На охоту вышла боль,
Но в ночи не умолкает
Гул подводный: до-ми-соль.
Гул подводный,
Гул подспудный —
Ходит колокола тень,
Обещая в жизни трудной
Праздник чудный — новый день.

* * *

Я отыскал безлюдное местечко,
Я отстранил молву и суету,
И мне навстречу выбегает речка,
Картавая от камушков во рту.
И мне не надо принимать решения...
«Забудь, забудь!» — бормочет мне трава.
«Ты прав, ты прав!» — и словно утешенье,
Сквозь ветви проступает синева.

МОНОЛОГ РУЧЬЯ

А я — пересыхающий ручей.
Уже песок, не слезы из очей.
Хватаю воздух горькою гортанью,
Уже не речь, а просто бормотанье.
Поля и лес с извилистой тропой,
Я собирал вас всех на водопой.
К моей волне вы припадали дружно...
Мне вашей справедливости не нужно.
Мне ваша жалость — пулею в висок.
Уйдите прочь, а я уйду в песок.
Не слушайте тайком, как я вздыхаю:
«Пересыхаю. Все. Пересыхаю».

* * *

Еще ворон простуженные глотки
Задорно провожают день короткий,
Еще сороки в милой простоте
Разносят людям сплетни на хвосте —
А дом открыт для встречных-поперечных,
И в нем уютно от сверчков запечных,
От «Запеканки» в синем хрустале,
От рюмок, по-осеннему нарядных,
От предвкушенья снедей маринадных,
От пирога, что дышит на столе.
И ты — моя утеха и отрада,
Царица дома и царица сада,
Мое мученье, мед моей строки,
С тобой мне томно и с тобой мне сладко...
И только небо темное украдкой
Глядит на наши белые виски.

* * *

Ты говоришь: я очень постарел.
То снова сердце, то опять прострел.
Сердитый, озабоченный, неловкий.
Что мне от лет своих не убежать.
Что остается целый день брюзжать
И сморщиться, как яблоку в духовке.

Я виноват, наверное... прости...
Вчера опять сидели до пяти.
Я сбился с темпа — что же тут такого?
При чем здесь возраст?.. Ты сошла с ума.
При чем здесь возраст — посуди сама!
Ну, милая... Ну хочешь в Комарово?

Я не устану — ты доверься мне.
Мелькнет, как радость, белка на сосне,
И упадет к ногам пустая шишка.
И будем мы счастливые идти...
И так легко нагонит нас в пути
Вчерашний гость, подвыпивший мальчишка.

* * *

Ну-ка, Бобышев, курнем,
Ну-ка рюмку кувырнем,
Да заправимся стихами,
Да у печки прикорнем.
За окном бунтуют ели,
Им бы тоже спать пора.
Наши толстые портфели
Отдыхают до утра.
Угли гаснут и бормочут
Что-то доброе, без слов.
Дом вздохнул: «Спокойной ночи!»
Кот зевнул: «Приятных снов!»
Ты меня разбудишь рано,
Чуть заря коснется крыш.
Удивишь строкой неожиданной,
Новой рифмой удивишь.
И уйдешь по тропам ярким,
По сверкающей лыжне,
И сверкающим подарком
Ту строку оставишь мне.
Подержу ее в руке,
Приложу ее к щеке.
В горле сладко тает льдинка,
Огонек на языке.

* * *

А парень говорил, колено обхватив,
Что есть один мотив, что есть один мотив.
И пробовал его смущенно напевать,
И тут же забывал, и пробовал опять.
И снова обрывал, и пальцами хрустел,
И все же напевал, и все-таки свистел.
Притоптывал ногой, и барды всех времен,
Притоптывая в такт, стояли с двух сторон.
И я твердил им в лад, колено обхватив,
Что есть один мотив, что есть один мотив.

* * *

Сколько было крыш чужих
И обшарпанных вокзалов,
И исшарканных дорог.

Сколько места на земле
Для бездомья, для бездымья,
Для бездумья, наконец.

Видно, мать моя в окно,
Заслонив свечу, смотрела
На цыганские костры.

Видно, слушал мой отец
Те гитары и качался,
И сходил от них с ума.

Потому-то до сих пор
Города — мои кочевья,
А деревья — табор мой.

* * *

И путешествия в Опочку...

А. С. Пушкин

Путешествие в Опочку.
Две деревни, три села.
Я упрятываю в строчку
Все, что муза наплела.
Путешествие в Опочку.
Очевидно, третий том.
Очутились, как нарочно,
Мы с тобою в веке том.
Что же, надо деловито
Осмотреться на пути.
Звонко шлепают копыта,
Слякоть, Господи прости!
И очки с тяжелой дужкой
Я решительно надел:
В этом мире даже Пушкин
Кое-что недоглядел.

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

* * *

Звезда покатилаь над степью, над степью,
Лицо прислонилось к горячей стерне.
Ночное тревожное великолепье,
О чем ты, зачем ты тоскуешь во мне?
Мой конь не расседлан, мой конь не стреножен,
Опущена грива, в траве стремяна.
Не надо сердиться. Давай подытожим,
Что было, что будет — на все времена.
Ты больше не ангел, ты больше не демон,
Ты женщина просто, а это больней.
Я столько для нашей любви переделал,
Но разве мы можем угнаться за ней?
Ты больше не панна, ты больше не донна,
Но разве я этим тебя оскорблю?
И радость безмерна, и горе бездонно:
Прощай — ненавижу, останься — люблю.
Сгорим и разъедемся — дело простое,
Но ты — вся огонь — посиди у огня,
И если я даже того и не стою,
Дай мне расседлать и огладить коня.

* * *

На берегах расплавленной Невы
Вдруг на прохожих зарычали львы —
Буграми вздулась каменная шкура.
Зверюга, парাপет перемахнув,
В гранит вцепился и, к воде прильнув,
Лакал ее, оглядываясь хмуро.

От этих шуточек не жди добра!
Храпела лошадь старого Петра
И, вскидывая крупом, воздух била.
Из-под копыта выползла змея
И, словно ужас, кольцами обвила
Колонну в шрамах, жалом шевеля.

Но в суете никто не замечал,
Как билась лошадь и как лев рычал,
Машины шли, не нарушая правил.
И я в тревожной жалости своей
Мучительным движением бровей
В последний раз на место все поставил.

* * *

Оставим город стыдный,
Уедем наконец —
Туда, в тот край завидный,
Где небо, как ларец.
И отомкнем со звоном
Мы крышку у ларца,
А там лесам зеленым
Ни края, ни конца.
Дремучие крылечки,
Росистая межа...
Там ждут меня две речки —
ВЕЛИКАЯ и ЛЖА.

КОЛОКОЛУ РОСТОВА ВЕЛИКОГО

Колокол по имени Сысой,
Я бы землю обошел босой,
Чтобы только выйти на рассвете
К голосистой звоннице твоей.
Ты качнись навстречу, пожалей,
Не забудь меня на белом свете.

Колокол по имени Сысой,
Не хочу ни волком, ни лисой,
Не хочу ни силой, ни обманом.
Постою у неба на виду,
Попрощаюсь взглядом и пойду
В светлом мире, мире окаянном.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Пустые продрогшие дачи,
Осеннего вечера гнет...
Какая-то скрипка заплачет
И в голос, и в голос начнет.
Не каждому это дается,
Морщины изрезали лоб...
Какая-то скрипка зальется
И в голос, и в голос — захлеб.
И целая ночь до рассвета.
И путь мой к тебе перекрыт.
И грустно. И кончилось лето.
И в голос, и в голос — навзрыд.

* * *

Маршак сидит в халате и брюзжит.
Он судит снисходительно и строго.
Он понимает, что моя дорога
Наискосок, проклятая, лежит.
Он мне советы добрые дает.
Вернусь домой и стул к столу поставлю.
Но ни одной строки не переправлю!
Господь судья, а что-то восстает.
А утром вновь по улицам седым
К нему приду я и напротив сяду,
И дивную английскую балладу
Он мне прочтет, закутываясь в дым.
Так тетерев токует на снегу,
Закрыв глаза, один с поляной белой...
Прочтет и скажет сухо: «Переделал?»
А я отвечу тихо: «Не могу».
Он переспросит каждую строку
И буркнет: «Как же! Вам не до советов!»
И на прозрачном томике сонетов
Напишет: «Моему ученику».

ДВА СОНЕТА

I

В траве медлительной, где дремлет ветерок,
Закинув голову, где влажная истома,
Где чувству мы подчинены шестому,
А пять других припрятываем впрок,
Где жук общительный под спящую рукой
Усами пальцы сонные щекочет
И шебуршит, и нам удачу прочит,
Но лишь на миг становится строкой,
Где, плавунцами вздрагивая, речка
Уходит, не сказав нам ни словечка,
А ведь могла бы — все, что захотим...
Мы не хотим: мы к травам приникаем
И понемножку к смерти привыкаем,
И песенку беспечную свистим.

II

Укладывайся, миленький, в сонет:
Четырнадцать — и более ни строчки.
И, если места для разбега нет,
Взлетай отвесно, с самой малой точки.
Не расползайся — ты не холодец,
Не расслабляйся — мускулы и воля.
Простора ветру не хватает, что ли?
Вполне хватает? Вот и молодец!
Вселенная (о как она огромна!)
Предстанет гармонично и объемно,
Ее загрибок сжат в твоей руке.
И больше ни поблажки, ни отсрочки,
И мысли раскрываются, как почки,
И смысла нет в пятнадцатой строке.

* * *

Я стою в темноте, в окна черные ломится проза,
Но на белом листе расцветает хевсурская роза.
Пряный запах ее ядовит и блажен, и настырен —
Он въедается в мозг, словно курятся сотни курилен.
Я люблю красоту, но она мне претит от избытка,
Я нектар ее пью, но не знаю позорней напитка.
Я стою у окна — нераскаянный, непобежденный —
И хевсурская роза горит на столе отчужденно.

* * *

Жить бы мне в Греции древней, воспетой стократно,
Белый хитон, а не серую пару носить,
И, потерявши навеки коня или брата,
Десять гекзаметров горестно произносить.

Жить бы мне в Греции! Я бы пошел к Эврипиду
И пригласил бы его на отменный обед.
Сколько б ни выпили мы, я б не подал и виду,
Не прихвастнул, что и сам я немножко поэт.

Жить бы мне в Греции! Я бы наполнил без меры
Сердце и слух, и глаза проглядел, и ослеп.
А разрешили бы боги, я стал бы Гомером —
Пел бы и ел бы слезами закапанный хлеб.

* * *

Я – Прометей. Орел мне печень рвет.
И я гляжу, кривясь от муки, сверху
На города в огнях и фейерверках.
Моя скала кровавая плывет
Сквозь мерзлый мрак и звездные чашобы.
Но нет во мне ни зависти, ни злобы.
И если Зевс забудет про меня, –
Спущусь с горы и боль меня покинет.
И женщина ребенка отодвинет,
И даст мне место около огня.
О как счастливо жизнь моя прошла!
Как сладко телу! Как приятно оку!
И кто-то скажет, что неподалеку
Нашли сегодня мертвого орла.

* * *

Каю Боровскому

Восходят дыма смуглые колечки,
И в каждом круглый удивленный глаз —
Со всех сторон разглядывают нас,
Плывут вдоль стен и кружатся у печки.
А мы дымим — так, милая, дымим,
С таким стараньем и с таким смиреньем,
И так прекрасен этот хрупкий дым,
Что кажется почти стихотвореньем.
Ты видишь? Леты легкая вода
У ног струится в солнечных занозах,
И мы полулежим в блаженных позах,
Как будто не страдали никогда.
И никого не помним в жизни этой,
И никому обиды не творим,
И полудремлем-полуговорим,
И смуглый дым встает над сигаретой.

* * *

Грибоедов и Пушкин, и Лермонтов тоже,
Современники наши на вас непохожи —
Ни Самойлов, ни Кушнер — сравненье напрасно,
Даже Бродский не тот, это каждому ясно.

Но когда они входят — поспешно, без стука,
И садятся к столу, и трясут мою руку,
И читают стихи, — я глаза закрываю
И, как трудную строчку, свой век забываю.

Задыхаюсь от счастья и от горя избытка,
И звенит колокольчик, и скачет кибитка,
И со мной на сидении — Господи Боже! —
Грибоедов и Пушкин, и Лермонтов тоже.

Ах, я все о них знаю... Я слушаю, плача,
Как читают стихи мне, судьбу свою пряча,
Три поэта, три ангела, три человека —
Непутевые дети двадцатого века.

* * *

Мы снова затеяли перестановку —
Подвинули шкаф, оттеснили сервант.
И сделалось пусто, и стало неловко,
Как будто бы каждый предмет эмигрант.
Ну что же, предметы, скитайтесь по свету,
Ведь мир вашей комнаты странно велик.
Блуждают диваны, кочуют портреты,
И зеркало прячет потерянный лик.
Все стронулось с места, хотя б на полшага,
Дома покачнулись в оконном стекле...
Чего ж ты нахохлился, старый бродяга?
Кого еще встретишь на этой земле?

* * *

И сказал мне парикмахер слова:
«Очень трудная у вас голова.
Хоть способная у вас голова,
Неудобная у вас голова.
Вы вот пишете, а я вот стригу.
Вы вот дышите, а я не могу.
Так же пену я взбиваю, как вы, —
Почему же ни трубы, ни молвы?
Гляньте в зеркало — ведь мы мастера.
Разве бритва не острее пера?
Разве меньше я тружусь для семьи?
Где же трубы, где же трубы мои?»
Я подстриженный домой ухожу,
Я пристыженный в постели лежу,
И всю ночь во мне звучит до зари:
«Где же трубы, где же трубы мои?»

* * *

Что же ты, детство, меня уверяло?
Тут ведь и смысла особого нет:
«Карл у Клары
Украл кораллы,
А Клара у Карла
Украла кларнет».
Клара рыдает над горькой пропажей,
Карл смеется — он скрипку купил.
Годы мои! Вы не знаете даже,
Сколько я помнил и что позабыл.
Но повторяют и старый, и малый,
Словно другой у них новости нет:
«Карл у Клары
Украл кораллы,
А Клара у Карла
Украла кларнет».

* * *

На снегу стоят дома,
Как закрытые тома.
Мопассан или Дюма?
Гончаров или Андреев?
Добряков или злодеев
Прячет в комнатах зима?

Я ведь тоже старый дом,
Я ведь тоже старый том,
А не старый — так и ладно.
Ты в лицо мое взгляни,
Первый лист переверни...
Видишь лампочку в парадной?

Я отдать тебе готов,
Если хочешь, пару строф
И, конечно, мир в придачу,
Где бездумствуют дома,
Где безумствует зима
И где я так мало значу.

* * *

Сердца жесткие удары,
Ходят звезды в вышине...
Я-то знаю: мир-то старый
И давно знакомый мне.
Ленинград в пустыне снежной,
Кара-Даг в седой волне...
Я-то знаю: мир-то прежний.
Что еще он скажет мне?
Что он скажет, что он спросит
В вихре лет и свисте гроз,
Где вишу я, как на тросе
Растерявшийся матрос?
И в ночи густой и млечной
Кто-то катит подо мной
Этот бедный, этот вечный
Шар таинственный земной.

* * *

Ниобея моя, Ниобея!
Что ты плачешь с утра и до ночи?
Может, думаешь, что ослабею,
Поцелуями высушу очи?
И усну, и приснится мне снова
Все, что вытоптать память хотела:
Дым смолистый от веток сосновых,
Грешный запах невинного тела.
Я вдохнул бы тот запах смолистый,
Но, вторгаясь меж явью и снами,
Равнодушный, холодный и чистый,
Меч двуострый лежит между нами.

* * *

Когда гроза безумствует над крышей
И в бубен суши бьет девятый вал,
Мужская дружба всех похвал превыше
И женская превыше всех похвал.
Дай руку, друг, и я печаль отрину —
Далек наш отдых и прекрасен труд...
А Цезаря закалывает в спину
Все тот же Брут, все тот же верный Брут.

* * *

И кто-то тихонечко стукнул в стекло,
Когда я читал Шодерло де Лакло.

Я стул отодвинул и встал у окна —
Была мне отсюда Фонтанка видна,

Кто — ворон иль голубь, подлец или друг —
Хотел, чтоб я выпустил книгу из рук?

И вдоль по Фонтанке, меж горьких огней,
Ты снова уходишь из жизни моей,

Ты молча уходишь вдоль горькой воды,
Чтоб где-то твои затерялись следы,

И мне не догнать, не обнять, не прильнуть,
У горла ту пуговку не расстегнуть.

Был вечер прохладен и ветер тяжел,
Когда я вернулся и в книгу вошел,

Я в книгу вошел, как прошел по судьбе,
И губы нашел, и нагнулся к тебе.

Ага, ты сдаешься! В бою, как в бою! —
Кинжал разрезает шнуровку твою.

* * *

Убей змею — и семь грехов простится.
Не надо ни поститься, ни креститься,
Ни душу переламывать свою,
А просто в лес, в широкий лес пуститься —
И семь грехов за каждую змею.

Живые блики веером дрожат,
Живое солнце плавает в лазури,
И семь грехов в змеиной пестрой шкуре
Убитые у ног моих лежат.

* * *

Мы оставим за спинами города гром
И Неву шерстяного оттенка
И на станции Токсово выйдем втроем —
Я и Боря, и Леша Бутенко.
Нам постылая юность, как ворот, тесна,
Мы бы сразу же в зрелость шагнули.
Еще только весна, еще доля красна,
Еще дремлют две пули, две пули.
И по краешку дней ходят трое парней —
Очень близких, но это детали...
Как мне быть, чтобы сделалась память длинней,
Чтобы люди хоть раз прочитали,
Что вот жили и не затерялись во мгле
(Просто жили — на что нам оценка?)
На прекрасной, несчастной, опасной земле
Я и Боря, и Леша Бутенко.

* * *

Вот и открылся ящик Пандоры —
Ворохом судьбы, слёзы рекой.
Вечное море, вечные горы,
Вечная слава, вечный покой.
Люди, мы слабы! Люди, мы бренны!
Небо блаженно, ласкова ширь.
«Что ж ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый снегирь?»

ДВЕ ПЕСНИ

1

Аист, добрый аист,
Ласковый и смелый,
Принеси нам, аист,
В клюве сверток белый.
Дуню или Ксаночку,
Или, может, сына...
А еще бы — ванночку,
А за ней — перину.
И на всякий случай
Сразу две кровати,
И буфет получше,
Чтобы жить в достатке.
А не хочешь делать,
Ничего не делай —
Принеси нам только
В клюве сверток белый.

2

Роят землю — не унять! —
Кони воронье.
Мы поедем догонять
Годы молодые.

Стариною мы тряхнем —
Молодость догоним
И назад ее вернем,
Коль не провороним.

Только что же гнать коней
По такой жарнице?
Я налью и ты налей —
Чокнемся, дружище!

Ты налей, и я налью.
Что, приятель, скверно?
Нам и выпить-то в раю
Не дадут, наверно.

Ну-ка оба мы нальем,
Старики седые.
Может, выпьем и вернем
Годы молодые.

* * *

На Царь-пушке отлито изображение
Феодора Иоанновича.

Кроткий лик на свирепом металле,
Пламя взоры его не метали.
Для чего ж, словно Марс, он отлит?
Страх сражений гвоздем его колет,
Он, как в жизни, канючит и молит —
И дрожит, и стрелять не велит.

Ну а колокол первостатейный,
Истомившийся в яме литейной,
Он и здесь словно брошен в тюрьму.
Как хочу я к нему прислониться!
Как светло и несбыточно снится
По ночам колокольня ему.

Чу! Москва на минуту уснула,
Шевельнулось тяжелое дуло
И врагу погрозило, как встарь.
Шумно люд собирается ратный,
И разносится грохот набатный,
И, зажмурившись, крестится царь.

* * *

Какой-нибудь насквозь соленый шкипер,
Крестясь, затычку выбьет из бочонка
И через край прольет, и чертыхнется.
А мы посмотрим издали, вздохнем
И разбредемся кто куда. Я сяду
В тени большого паруса. Согну
Устало ноги и на борт откинусь.
Все это будет триста лет назад.
Передо мною волны, волны, волны.
Ни рыб, ни чаек, ни живой души.
А завтра снова порт... А что мне порт?
Я знаю клички всех портовых девок,
Я пил во всех портовых кабаках,
Я обошел полмира. Но тебя
Нет и в помине. Ты не родилась.
Вот отчего мне на земле тоскливо.

* * *

Над поникшим садом,
Над путем окольным
Плыло небо рядом
С гулом колокольным.
И, теряя силы
В этом ясном звоне,
Ты глаза гасила
О мои ладони.

Сосны взгляд отводят,
Смотрит тополь строго,
Как в холмы уходит
Белая дорога:
По своим законам,
По своим причинам —
Колокольным звоном,
Журавлиным клином.

Ничего не спросим,
Ничего не скажем.
В печку дров подбросим,
Спать пораньше ляжем.
Где же наши брашны?
Где же день вчерашний?
Где же наши реки
Из варягов в греки?

* * *

Дорога к озеру спускалась
С холма, который добротой
Превосходил нас несомненно.

А это дерево — смотри:
Оно прекраснее и чище
И лучше нас, как ни казись.

Что тут поделаешь! Ведь ты
Сама была — не помню только:
Березой или же ольхой.

Нет, погоди... Смешная память!
Ольхой, конечно: потому
Тебя и называют Ольгой.

А я был вязом или кленом...
А мальчик наш — он до сих пор
Почти такой же, как деревья.

* * *

Забившись в табачном пропахшую берлогу,
Залечивал гусар простреленную ногу.
Бутылка на столе, гитара на стене,
И шпоры на полу подмигивают мне.
А я ему твержу: «Сыграй, гусар, сыграй!
Мне в ад давно пора, но я не прочь и в рай.
Я душу промотал, но не за полцены...»
И он вздохнул и снял гитару со стены.

Военный человек — задира и хвостун,
Что сделал он со мной, когда коснулся струн?
И я просил его: «Добавь еще отравы!
Не надо ничего, не надо даже славы.
На что мне и любовь — я без нее в огне...»
И шпоры на полу подмигивали мне.

* * *

Вот дама с насморком, вся в черном и шуршащем —
Вдова художника, который в настоящем
Был знаменит, а в будущем умрет,
И вновь воскреснет лет через пятьсот,
И выставит уже бесповоротно
Свои полуистлевшие полотна.

Мы вместе шли народной тропой,
Он у меня брал деньги на пропой.
Нам для труда погоды было жалко,
Мы уезжали часто на рыбалку.
Его жена была со мной на «ты»...

И вот теперь из страшной темноты
Гляжу в благоговении великом
На эту даму с треугольным ликом.

* * *

Тяжелую шляпу
В руках теребя,
Куда это я
Ухожу от себя?
Шагаю, оставив
Себя у дверей, —
Все дальше и дальше,
Скорей и скорей.
Сейчас я спущусь
Торопливо с холма,
Сейчас меня скроют
Вот эти дома.
Мелькнет моя тень —
Мой последний привет...
Но я не гляжу
Уходящему вслед.

* * *

В пяти телегах ехали цыгане,
Катился чудный гомон над страной,
И тот старик, что сердце песней ранил,
Все говорил с цыганочкой одной.
Как будто снова я сидел, о табор,
У ног твоих — беспечно, как вчера, —
И шорох трав примешивался слабо
К густому дыму доброго костра.
А память забывала, забывала
И падала, запутавшись меж лент,
И всю-то ночь гитара колдовала —
Заслуженный бесовский инструмент.
Скрипя, вползают в марево телеги.
Прижмись ко мне. Не думай. Помолчим.
В протяжном небе, в небе, полном неги,
След самолета еле различим.

* * *

Я хотел бы в этой будке
Проводить часы и сутки,
А быть может, и года,
Чтоб летели промежутки
И свистели поезда.

Ничего бы мне не надо —
Ни Москвы, ни Ленинграда.
Одному я был бы рад,
Что бегут огней каскады
На Москву и Ленинград.

С каждым гулом бы встречался,
С каждым грохотом прощался,
В жестяной рожок дудел.
Весь бы век не отрывался,
Весь бы век свой вдаль глядел.

* * *

Вы мне спойте, Надежда Андреевна,
Ничего, что вас нету в живых.
Вы мне спойте, Надежда Андреевна,
Я давно в ожиданье затих.
Это лента магнитная движется,
Это двинулось небо в слезах,
И душа моя, горя сподвижница,
Тихо плачет на ваших низах.
И, легонечко стукнув калиткою,
В степь далеко, в рассветную грусть,
Я уйду за цыганской кибиткою
И не знаю, когда я вернусь.

* * *

Мушкетеры господина де Тревиля,
Неужели вас гвардейцы затравили?
Разве можно, чтобы слышалось всегда:
«Шпаги в ножны!
Шпаги в ножны, господа!»
Но мелькают пустыри и перелески,
И сверкают вам алмазные подвески.
И нетрудно, и нестрашно на рожон,
Если выхвачены шпаги из ножон.
Петушина смолкает перекличка,
А за окнами грохочет электричка.
Я один в недоброй комнате сижу
И в лицо своим обидчикам гляжу.
И сквозь гнев, и одиночество, и муку
Опускаю я торжественную руку,
Как на Библию, на детский тот роман:
«Я не струсил, я не струсил, д'Артаньян!»
И мелькают пустыри и перелески,
И сверкают мне алмазные подвески.
И нетрудно, и нестрашно на рожон,
Если выхвачены шпаги из ножон!

* * *

Девчонки длинноногие! Не мне
Гореть на вашем медленном огне.
Нам щедрые дары приносит осень,
Мы гордые — чужого не попросим.
Есть у меня мой стол и улыбки книг,
К которым я, как пасечник, приник,
И добрый пес, и мудрая беседа,
И верный друг (я с ним сто лет знаком!),
И трубка с капитанским табаком,
Доставшаяся мне еще от деда.
Давай же посидим перед дорогой,
Перебирая радости свои —
И свет, и тень, и на краю земли
Веселый смех девчонки длинноногой.

* * *

Я не пишу стихов, и это так прекрасно!
Живу, как все живут, спешу сквозь полдень ясный,
Портфель набит мурой, а дома ждет обед,
Автобус мой ушел, трамвая тоже нет,
А мне и наплевать — я постою охотно:
Я свой среди своих — не прежний дух бесплотный.

Я пирожок купил с ближайшего лотка,
На город свой гляжу немного свысока:
Не светский, как Париж, не пылкий, как Верона —
Поистрепался сад, повыгтерлись колонны.
Нева течет в залив и больше никуда —
Не Лета и не Стикс, а попросту вода.
Я небу возношу за то благодаренье,
И знаю, что пишу уже стихотворенье.

НАЧАЛО ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

* * *

Черный камень Каабы,
Ах когда бы, когда бы
Я ладони к тебе приложил,
Ты мне все предсказал бы,
Ты мне путь указал бы,
А уж я бы тебе отслужил.

Камень хмурый и старый,
Покажи свои чары,
Дай увидеть грядущие дни.
Будь мне другом усердным,
Будь ко мне милосердным —
Обмани, обмани, обмани.

* * *

Дождь моросит и в Лондоне, и в нашем
Печальном городе. Мы под зонтами пляшем
От холода, и вдаль спешим рысцой,
И лишь дома подернуты ленцой.
Один из них особенно недвижим —
Стоит во всем великолепии рыжем.
Ты рядом с облаками, на шестом...
А Лондон... Но о Лондоне потом...
Ты то мелькнешь в окне, то исчезаешь,
Как будто нож то вынешь, то вонзаешь.
Ты без меня обходишься легко...
А в Лондоне... Но Лондон далеко.
На крыши дождь, на шляпу дождь струится,
Мой верный зонт нелепой черной птицей
Вздыхнул и умер над моим плечом...
А в Лондоне... А Лондон ни при чем.

* * *

А во дворе строительный разброд:
Щебенка, балки — тут не до парада!
Оглядываться в прошлое не надо.
Махни рукой, и выйдем из ворот.
Трамваи совершают поворот
У Летнего сверкающего сада,
Нагая улыбается наяда,
И воробей колено ей клюет.
Ты прячешься в прохладу и испуг,
В тени Амур натягивает лук,
И лебеди, как маленькие боги,
И рядом с ними уточка в воде —
Крестьяночка, не знающая, где
Кончаются небесные тревоги.

* * *

Эти угрозы,
Позы и бредни,
Женские слезы
В темной передней.
Эта бравада
Напропалую,
Привкус помады
И поцелуя.
Хрустнет записка,
Полная риска...
Ближе не нужно —
И так уже близко.
Лучше сожги
Этот вымпел почтовый,
Лучше беги,
Как корабль трехмачтовый.

Что ж так послушно?
Что ж так тревожно?
Ближе не нужно —
А может быть, можно?
Слушал побасенки,
Платья касался...
Вот и попался,
Который кусался.

* * *

Когда на лес упала
Июльская гроза,
Я вдруг увидел Пана
Гуцульские глаза.
Во мгле кустов лежал он,
Внезапный, как ожог.
В одной руке держал он
Пастушеский рожок.
И, белая от гнева,
Затянутая в дым,
Над ним клубилась дева,
Обманутая им.

Я тоже выбегаю
Из дома в острый мрак,
Мне молния мигает,
А это добрый знак.
И по звериной тверди
Текут мои слова
О жизни и о смерти,
Но о любви сперва.

* * *

Давайте пойдём на бульвар Капуцинок,
Давайте проявим изысканный вкус.
Я тоже красавец, я тоже мужчина,
Я тоже с моноклем, я тоже француз.
Бонжур, Жозефина, адье, Изабелла.
Вас это задело? Простите, мадам.
Мне в веке двадцатом вот так надоело,
И я бы слетал в девятнадцатый к вам.
А если и там мне прискучит без меры,
Я снова пушусь через волны времен —
Туда, где над морем у темной пещеры
Ревет Полифем и гудит Аквилон.

* * *

Эта девочка — Нанá —
Вечной жалости полна.
На ее подоле
Кто-то выткнул слово «грех» —
Не на стыд, и не на смех,
А для справки, что ли.

Я встречался с ней не раз,
У ее преступных глаз
Плавали печали.
Шла она — одна на всех...
И деревья слово «грех»
Нараспев читали.

А за нею, по следам,
Крались Каин и Адам,
И апостол Павел.
Всех жалела, видит Бог,
Деньги прятала в чулок,
Как Господь наставил.

В Ленинграде, на мосту,
Люди верят в красоту
И грустят о доле...
Плачет верная жена,
Ходит девочка Нана,
Буква каждая видна
На ее подоле.

* * *

А мы запрячемся в строке —
Ты в детстве, в самом уголке
Со мной вдвоем укройся.
Печенье, плавленый сырок.
Тебя к доске. Идет урок.
Я подскажу — не бойся.

Не хмурься. Лучше о простом.
Не будь печальной. Под кустом
Лежит твоя скакалка.
Мы перепрыгнем в годы те
И улыбнемся чистоте,
А мудрости не жалко.

Нас жизнь ломает, сатана,
И хочет нам воздать сполна,
И судьбами играет.
А мы уйдем в конец строки...
Стоит учитель у доски
И руки вытирает.

БУКВЫ

В хмуром мраке пещер
Робко прячется «Эр»
И грома, разумеется, скрыты,
А в лазурную щель
Льется ломкое «Эль»
И лепечет: «Лолита... Лолита...»
А с высоких небес
Опускается «Эс»
В сад, сияющий солнечным светом.
Гроздь горчит — не горчит,
И молва не молчит,
И плывут паруса за поэтом.
Я люблю вас, о буквы, о буки мои!
Ну не надо, не надо, ну знаю — ничьи.
Я забуду зарубки, заметки,
Я перо положу
И — пойдем — покажу:
Век висит на воркующей ветке.

* * *

Собственно, день этот — резкий
и пыльный —
Вдруг обернулся мукой чернильной,
И невдомек,
Как это вышло, в итоге конечном:
День растянулся и сделался вечным,
Строчками лег.

Лег и лежит у меня на пороге.
Как это вышло, в конечном итоге?
Брать ли в расчет
То, что теперь он вырезан в слове
И по его неподвижной основе
Время течет?

Время течет по основе недвижимой,
Ставшей отныне шорохом книжным,
Шелестом лип,
Пылью и ветром, пером и тетрадкой...
Собственно, в этом и скрыта загадка,
Хитрый Эдип.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ФИЛОСОФ

Я странствующий философ.
Я плоть. Все другие — тени.
Блуждаю во мгле вопросов
И в дебрях предположений.
У ваших домов печальных,
У выщербленной дороги
Я пью из ручьев хрустальных,
Обдумывая итоги.
Мой посох, мой старый посох,
Который в руке качаю,
Твердит мне: «Ответь, философ!»
И я ему отвечаю.
Я все распознал и видел,
Мне каждое диво внятно,
И Бог на меня в обиде,
Но это тоже понятно.
И брызжут осколки света,
И дождь надо мной негодует,
А я объясняю ветру,
Куда и зачем он дует.

* * *

— Мне скучно, бес!
— Что делать, Фауст...

А. С. Пушкин

Ах, разорен мой сад
Таинственный и пышный,
В котором был бы рад
Понежиться Всевышний.
Когда бы лист не бил
Прощальной желтизною,
Он, верно б, не забыл
Потолковать со мною.
Сквозь огненный денек
Мы шли бы, не скучая, —
Кто человек, кто Бог
Не слишком различая.
Была бы с миром связь
Прекрасной и бесспорной,
А впереди, резвясь,
Бежал бы пудель черный.

* * *

Чужого Брокена сестра —
Родная Лысая гора!
Свои здесь черти, ведьмы наши.
А коль войдет вся нечисть в раж,
Не поменяю баш на баш —
Заморский дьявол так не спляшет.
Что толку в нем? Кишка тонка!
А наши жажнут гопака —
Не тот кураж, не те ухватки,
Не та порода, черт возьми!
Я с ними близок, как с людьми:
Ты видел хвост, взамен закладки,
В моей исчирканной тетрадке?

* * *

Мы вышли в полдень на опушку
По обмелевшему ручью,
И куковала нам кукушка,
И раздавала жизнь свою.
С какой-то щедростью лихою,
Когда уже оглядки нет,
Она дарила нам с тобою
То двадцать лет, то тридцать лет.
Ну что ж! Подбрось еще немножко!
Пускай морочит нас морошка —
Все слаще ягодный дурман.
Мы годы спрятали в лукошко,
А горе сунули в карман.
Земля грозою пахла дивно,
И лету не было конца,
И, шапки сняв, четыре ливня
Стояли около крыльца.

* * *

Звенели осы в синий зной,
И вторил им ольшанник.
Я шел дорогою лесной —
Я тоже в мире странник.
Я гладил спину ручейка
Горячими руками,
И плыли надо мной века,
Мешаясь с облаками.
Я в дом просился ночевать,
Но если был я лишний,
Я уходил в свой лес опять
И напевал чуть слышно.
И дерзкой, ласковой весной,
И зимней белизною
Я шел дорогою лесной,
И мой сурок со мною.

ПЕСНЯ

Ах, он был черен и курчав,
И он был прав, а я не прав,
Он пел, как сердцу пелось,
А не как мне хотелось:

По Рио-Негро!
По Рио-Негро!
Если только можно, по Рио-Негро!

Ах, можно, можно, замолчи —
Вот шорох волн, вот в рай ключи,
Билет, свисток, каюта...
И грустно почему-то.

По Рио-Негро!
По Рио-Негро!
Если только можно, по Рио-Негро!

Ах, то не я ли, посмотри,
Плыву под крылышком зари?
Мне отвечают: «Что ты!»
И грустно отчего-то.

По Рио-Негро!
По Рио-Негро!
Если только можно, по Рио-Негро!

* * *

Ксеркс побежден. Бьют персов. Тонет флот.
Чужая боль. Чужая неудача.
Я удаляюсь от дневных забот.
Пронесят мимо раненых. Я плачу.
Сижусь один. Обломки по воде
Плывут к столу и ранят мне колени.
И тонут корабли в кровавой пене:
В чужом несчастье и в моей беде.
И где мой дом — надежда и оплот?
И как мне жить? Я не могу иначе!
Ксеркс побежден. Бьют персов. Тонет флот.
Пронесят мимо раненых. Я плачу.

РАССЫПАННАЯ
КНИГА

* * *

Отчего я так дивно устроен,
Что и зла и добра удостоен,
Что велик бесконечно и мал?
Кто меня так искусно придумал —
Подержал и с руки своей сдунул,
А потом наступил и сломал?

Но бежит животворный источник
И срастается мой позвоночник, —
И хоть был я полжизни во мгле,
И хоть мне еще трудно на свете,
Мне завидуют море и ветер,
И скала, и сосна на скале.

* * *

А озеро внезапно на меня
Выходит из сумятицы сосновой.
Опять купанье красного коня —
Не озеро, а детство вышло снова.
Журнальная картинка на стене,
И мама наклоняется ко мне.

Не надо детства... юности не надо...
И памяти... и трупов на снегу...
Прозрачная озерная прохлада,
Я возвращаться в это не могу!
Журчит вода, как в давнем полусне,
И мама наклоняется ко мне.

Я памяти своей не понимаю —
Зачем ей жечь и жалить без стыда?
И я друзей далеких обнимаю,
Которых не увижу никогда.
А кто-то уезжает на коне...
И мама наклоняется ко мне.

* * *

Та колоколенка, что притворилась
Совсем не колоколенкой, видна
Из-за горы, которая горой
Себя давно не называет. Что же
Касается меня, то я никак
Понять не в силах, почему моря
Прикинулись иными существами?
И дом не дом, и сад не сад, и ты
Не ты, коль приглядеться (вот что странно!),
А если глубже вдуматься, выходит,
И я не я, согласно уговору
Кого-то с кем-то, только этот кто-то
Не кто-то, а другой... вот в чем загвоздка.
Поговорить? Расставить по местам?
Да нет, овчинка выделки не стоит.
Добро б она была еще овчинкой,
А так...

* * *

В лесу осеннее «увы»,
Самосожжение листвы,
Туман холодный стелется.
Пожухли пальчики травы
И больше не шевелятся.

И только через осень,
Рассудку вопреки,
Как раненые лоси,
Летят грузовики.

Оставим счастье на потом —
Уже зима грозит перстом,
Примерзло небо белое,
Ручьи с набитым стужей ртом
Лежат, окоченелые.

И только мы с тобою —
Два сброшенных листка,
Наперекор отбою,
Живем еще пока.

* * *

Идут солдаты и шаг чеканят...
Меня убьют, а тебя лишь ранят.

Лесов молчанье, полей аккорды –
Ты будешь живой, а я буду мертвый.

Ты будешь лежать в санитарной палатке,
А я в земле, где другие порядки.

Ты губы кусаешь, ты бредишь: «Нас двое!»,
А я прорастаю травую, травую –

Зеленым шуршаньем, бальзамом нежданным,
Который так сладко прикладывать к ранам.

* * *

У меня была бабушка Мирра —
Мама мамы, начало начал.
Рвались бомбы, дрожала квартира
И от голода город кричал.
Баба Мирра к окну подходила,
Вниз глядела сквозь холод стекла,
И за каждого Бога молила...
Что еще она сделать могла?
Ветер памяти треплет страницу
И кричит, и за горло берет:
Мне равнина огромная снится,
Я с ключами стою у ворот.
Вьется очередь — люди без плоти,
И стою я на страже в раю...
Я бы всех отстранил: «Подождете!»
И впустил туда бабку мою.

* * *

Дом из прессованного картона
Мне не наносит большого урона.
Правда, он тычется в окна, но я
Мимо гляжу и по-прежнему вижу
То, что люблю и слегка ненавижу —
Холм и тропинку, и дуб у ручья.
Да, я ворчу: надоело за годы,
Но необидчива прелесть природы
И приедается только тогда,
Если встаю я в дурном настроенье
И упираюсь глазами в строенье,
В это подобье людского гнезда.
Где бы и сколько я раз ни рождался —
Рос бы в горах, городам попадался,
Степь бы молила: «Живи, я твоя...»
Мне бы (простите мое постоянство!)
Нужен был малый кусочек пространства —
Холм и тропинка, и дуб у ручья.

* * *

Хоть я тебя люблю и почитаю,
Я одиночество предпочитаю.
В себе самом я, как в толпе густой:
Ору, шучу, проталкиваюсь, спорю,
Читаю лучшей из аудиторий,
Льщу, огрызаюсь — я ведь не святой!
Приобретаю, радуюсь, теряю,
Себе свои же тайны доверяю,
Стих уверяю, что любовь глупа,
Обманываю, каюсь простодушно...
Не обижайся, мне с тобой не скучно,
Но двое — это все же не толпа.

* * *

Глянешь в небо — и утопишь взор.
Только где-то, на краю сознания,
Две осины вышли на бугор —
И дрожат, и просят подаянья.
А кругом такая благодать:
Неба свет застенчивый и ясный,
Широко и далеко видать,
И поля младенчески-прекрасны.
Отчего ж нам холодно, скажи?
Что за рок над этими местами?
И зачем так горестно стрижи
Крестят землю частыми крестами?

* * *

По отверстию в черепе ученые
установили, что епископ был убит
из арбалета.

Из газет

Епископ был убит из арбалета,
Мы все давно предчувствовали это.
Когда он шел, молитвенник держа,
Седой и стройный, в огненной сутане,
Мы ясно понимали, прихожане,
Что он идет по лезвию ножа.
Мы ни на миг о том не забывали,
Когда ему мы руки целовали,
Ловили край одежды, а потом
Судачили, в крутой затылок глядя:
«Он с королем норвежским не поладил —
Теперь ему конец...»

Но дело в том,
Что мы его любили, так любили!
Вчера я плакал на его могиле,
Была долина скорбная тиха,
И шмель гудел, как будто плакал тоже,
И я в слезах твердил: «Великий Боже!
Он снял с меня проклятый груз греха,
Благословил распутного и злого,
Вернул мне мир прикосновеньем слова,
Он дал мне радость на остаток лет».
Я шел и повторял: «Великий Боже!»
Открыл чулан и бросился на ложе...

.....

И на стене качнулся арбалет.

* * *

Здесь жили так же, как во всех больницах:
Слонялись коридором, флиртовали
С медсестрами, стараясь заглянуть
В историю болезни, дулись в карты,
Ругали суп, храбрились на обходах,
Встречали жен, шуршали передачей —
Ведь это были люди, те же люди,
Пока еще живые.

И каждый знал, что у соседа рак,
И вон у тех, да и у всей палаты,
У всей палаты, но не у него.

Меня и ужасало, и смешило
Их бедное, бесстрашное неверье,
Святая их наивность... Я об этом
Часами думал на больничной койке,
Сочувствуя и недоумевая.

Ведь я-то знал, что у соседа рак,
И вон у тех, да и у всей палаты,
У всей палаты, но не у меня.

* * *

Такая злость, такая здесь тоска,
Как будто землю пустят с молотка,
А, может быть, и пустят — кто их знает...
Но мы с тобой живем еще пока
И нам об этом дождь напоминает.
Седьмую вечность врут метеосводки.
Что будешь делать при такой поголке?
Мы заперты, дорога, как река.
Зачем же злость? Куда мы дни торопим?
Давай-ка печь ольховыми затопим
И посидим вдвоем у камелька.
У камелька тоска тоску согреет,
И ни о чем душа не пожалеет.
Нас двое? Или мы с тобой одно
Живое тело? Поздно или рано?
Ну, обними меня, моя Татьяна,
Моя Земфира, Мери... Все равно!

* * *

Почему на столе моем краска вздулась буграми?
Почему в зоопарк не завозят ихтиозавров?
Почему не поперчен обед и ни пуха, ни праха?
Почему я ни в пень, ни в колоду, ни уха, ни рыла?
Почему докопаться хочу? Почему все равно мне с какого
«Почему» начинать?
Почему на земле я стою вопросительным знаком?
Вопросительным знаком стою и не стою ответа.

* * *

Дьявол шапку снимает
И в калитку плечом...
Что принес он — не знаю,
Но я знаю почем.
Разложил он товар свой
В гуле пчел на окне,
И почти без коварства
Стал показывать мне.
Я и бровью не двинул,
Я по-царски кивнул —
Душу скорбную вынул
И ему протянул.
И ушел он без слова,
По дорогам пыли...
А меня
 и такого
Держала земля!

* * *

Окоем! Как много
Охватило око —
Поле и дорогу
И деревья сбоку.
Окоем! Как мало
Око охватило —
Моря не достало,
Неба не вместило.
Слушала тревога
И не понимала:
Мало или много?
Много или мало?
И притихли воды,
И спустились ночи,
Словно у Природы
Выкололи очи.

* * *

А соседи говорят:
«Ваши спички не горят,
Ваша лампочка потухла,
Ваша курица протухла,
Ваша верная жена
Абсолютно неверна».
Я соседям отвечаю:
«Мол, не лучше ль выпить чаю?
Я, мол, старый их сосед,
У меня претензий нет, —
Только детям их поганым
Стыдно шарить по карманам».
А за окнами Нева,
На Неву летит листва.
Осень, шпиль, решетка сада...
И не ты ль, моя отрада,
Золотую эту грусть
С детства знаешь наизусть?

* * *

Не надо, не злословь...
Где оперы Беллини?
Где совершенство линий?
Где прежняя любовь?

Что удержало вечный ход планет?
Их шорох еле слышен.
В моей руке лишь косточки от вишен,
А сада нет.

Мне очи
Забило болью, пустотой и мраком.
Печаль сильнее.
Три ночи,
Три ночи я лежал во тьме и плакал,
И не было между ночами дней.

* * *

Город серый и сердитый —
Ломкий воздух, зимний сплин...
Здесь живет поэт забытый
По фамилии Кузмин.
Он огни Александрии
Видит в северных снегах,
И форели золотые
Бьются в невских берегах.
И никто-никто не знает
(Ведь чудес на свете нет),
Что проспект пересекает
Божьей милостью поэт.
Он и мухи не обидит,
Он и ветру не соврет,
И никто-никто не видит,
Что сегодня он умрет.
Не сойдемся на поминки,
Слово некому держать...
Лишь стихи на черном рынке
Будут снова дорожать.

* * *

Стреляла крепость. Было ей прожить
Дней пять иль шесть. Но комендант не верил.
Он на себя ее судьбу примерил.
И усмехнулся. И утратил нить.
А после пушку каждую проверил.

А я стоял у крепостного рва
И повторял последние слова
Деревьям, небу, мужеству, таланту,
Тому, что жил и что еще живу...
Вдруг тень упала рядом на траву —
Я за плечом увидел коменданта.

Мой верный друг, мой старый храбрый волк!
Нет, не укоры совести, не долг,
Другое что-то в мысли мне запало.
И я глядел из горя своего
На выправки военной щегольство,
А крепость все стреляла и стреляла.

* * *

Извозчичья пролетка
В старинном городке,
Я весь свой век короткий
С тобой накоротке.
Из-за спины сутулой
Я вижу не впервой
Обтянутые скулы
Бульжной мостовой.
Извозчик, а извозчик,
Ты, может быть, и прав:
Пожалуй, это проще,
Чем на семи ветрах.
Но жизнь моя как росчерк,
И я рукой машу:
Извозчик, а извозчик,
Куда же я спешу?
Зачем в потоках света,
В распахнутом пальто,
Я пуля, я ракета,
Я сам не знаю кто.
Бегу сквозь град известий,
Стирая пот, бегу...
И этот бег на месте
Сдержать я не могу.

ОСЕНЬ

Окончились пробелы и запинки,
Я лес читаю прямо с серединки,
Я наизнанку вывернул его.
Слова приходят самые простые —
Они лежат, как листья золотые
В день торжества и горя своего.

Я говорю: деревья облетают.
Нагие ветви небо расшатают,
Но в нем отвага юная жива.
Губами тронь бока его литые...
Слова лежат, как листья золотые —
Совсем обыкновенные слова.

Я жить хочу среди обыкновенных,
Таких скоропалительных и тленных,
Мешающихся с небом и листвою.
И может быть, без чинопочитанья,
Я их сведу в такие сочетанья...
А ты опять качаешь головой.

* * *

Бирнамский лес пошел, и некуда деваться,
Над ухом совести неотвратимый гул,
А подо мной течет река Ингул —
Ей по-английски надо б называться.
Я не хотел сворачивать с пути,
Сквозь жизнь твою ломился напрямую...
Река течет и держит речь немую,
И мне ее упреков не снести.
А ты бредешь на дымки дальних сел,
Ссутулившись, не смея оглянуться.
Прощай. Прости. Мне больше не проснуться.
Я слышу хруст — Бирнамский лес пошел.

СТАРЫЙ ЗАМОК

Скоро состарюсь
И стану развалиной,
Как развалины этого замка
Возле пыльной стоянки.
Раскатились камни по полю
Сгустками боли.
Вот осколок зала, обломок спальни —
Голос их дальний.
Голос их дальний, голос их давний...
Я среди мертвых, как равный —
Значит, трудится время исправно.

О зачем мой прах потревожен
И сминается под копытом?
И какая разница, Боже,
Убивать или быть убитым?
Я убит в этой схватке не был,
Не меня окропили слезы...
А над Англией плыло небо
Цвета алой и белой розы.

* * *

Я Геккельберри Финн,
Я самый первый хиппи —
Откальваю финт,
Плыву по Миссисипи.
Над нами звезд поток,
В руке бутылка джину:
Я отхлебну глоток,
А остальное Джиму.
Ах, где-то есть тот край
(Молва не так уж лжива!),
Где оборванцам рай,
А неграм особливо.
И я не поверну,
Пока седым не стану.
Потом рукой махну
И к берегу пристану.
Мне берег скажет:
«Друг!
Мы так тебя искали...»
И с тетей Полли вдруг
Заплачет тетя Салли.

* * *

Не угадаешь век по фарам:
Мелькнули тусклые и прочь...
А в небо ломится пожаром
Варфоломеевская ночь.
Я задыхаюсь под пятою,
Я проклиная ночи гнет,
Но я и сам не знаю, кто я —
Католик или гугенот.
Нет, я не трус, не беззащитен.
Но где же зло и где добро?
А сзади: «Сударь, трепещите —
Вам нож нацелен под ребро.
Но если вы наш брат католик,
Святой исполненный любви,
Пируйте: выпотрошен кролик
И гусь в подливке, как в крови».

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Мы играем в домино,
А за окнами темно.
Не сияет мирный свет,
Потому что мира нет.
Нет вселенной. Спасена
Наша комната одна.

А нам это все равно —
Мы играем в домино.
Я поставил дубль шесть:
У меня надежда есть,
Что противник из игры
Улетит в тартарары.

За столом сажу один —
Сам себе я господин.
Я поставил дубль сто...
Нет такого? Ну и что!
Нет стола и нету стен,
И меня здесь нет совсем.

И останется одно
Лишь туманное пятно.
А туманное пятно
Не играет в домино.

БАЛЛАДА

И я увидел четырех ворон —
Они сидели с четырех сторон,
И ни одна из них не поглядела,
И я подумал: мне какое дело?
У первой были крылья хороши,
Вторая надрывалась от души,
Не шевелилась и молчала третья,
Четвертая жила почти столетье.
А, может, так лишь вороны живут?
Я ничего не понимаю тут.
Мне никогда не дотянуть столетья...
И в этот миг зашевелилась третья.
Она слетела на плечо ко мне,
И понял я, что это все во сне,
И отрешенья вечного коснулся,
И застонал, и умер, и проснулся.
Я все простил и ужасу, и сну,
Я подошел к янтарному окну
И за окном увидел те же кроны,
И в них — недвижно-черные вороны.

КОКТЕБЕЛЬ

Грудь Афродиты — два холма,
Два осмугленных солнцем, нежных,
Начало мук моих безбрежных —
Скорей бы вас покрыла тьма!
Столетия тонут в серебре,
За перевалом блеют козы,
И пароходы, как стрекозы,
Летят по утренней заре.
О Коктебель — моя тюрьма!
Цветы, холмы, деревья, дети!
Я к вам заплыл, как рыба в сети,
Скорей бы вас покрыла тьма.
Скорей бы мрак на землю лег,
Чтоб слышать в замкнутом просторе,
Как о свободе бредит море
И дует в посеидонов рог.

* * *

Грек босоногий — сатир, виночерпий,
Взглядом окинув зеленую даль,
Терпкую влагу подносит Евтерпе,
Сыплет на блюдо соленый миндаль.
Нож окунулся в прохладу арбуза,
Нежится море, песок шевеля...
Что ж ты задумалась, смуглая муза,
Милая, щедрая муза моя?
Выпьем — и в путь, мы минутные гости,
Нам не расстаться надолго с зимой...
Небо жует виноградные грозди,
Пьяное небо над пьяной землей.

* * *

Дорóга, дорóга, дорóга,
Дорога какая ни есть,
Помилосердствуй немного —
Позволь мне на камень присесть.
Блаженно пристроить колени,
Почувствовать лень и покой,
Зажмурясь, забыть о движенье
И камень проверить рукой.
Он теплый, он мохом покрытый,
Тяжелый, надежный вполне:
Опора, ограда, защита —
Такой же, как будет на мне.

* * *

Нет, никогда календарю
Я не скажу: «Благодарю».
Часы запрю, будильник спрячу.
Куплю билет втридорога,
Уеду к черту на рога
И брошусь в травы, и заплачу.

Спаси, лесная тишина!
Пусть заслонит меня сосна
Своею смуглою спиною.
И вдруг услышу я, привстав, —
Неумолимо, как состав,
Грохочет время надо мною.

* * *

Эта родинка-нахалка
Из любовной мошкары,
За которую не жалко
Ни Москвы, ни Бухары.
Эти белки, эти ветки,
Этот путь по мостовой...
Только ахали соседки
И качали головой.
И завистливо твердили:
«Седина, а бес в ребро!»
И руками разводили:
«Опозорил серебро».
Я и сам все это знаю —
Вышло время для атак.
Голова моя шальная
Закружилась просто так.
«Понапрасну, мальчик, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь:
Ничего ты не получишь —
Дураком домой пойдешь».

ЦИРЦЕЯ

О, я тебя боготворю,
Я говорю тебе: «Хрю-хрю!»
Я обожаю всей щетиной,
Молю о взгляде, о пинке,
Смотрю на грудь твою в тоске —
И я когда-то был мужчиной!
И в час, когда свиное стадо
Спешит за легким каблучком,
Я умираю от досады
И рою землю пяточком.
В моей аорте острый стук —
Не молкнет сердце человечье.
Как он хорош — твой новый друг!
Как он берет тебя за плечи!
Красавец наглый с жадным ртом...
Ну что ж, он из того же теста:
Мы с ним похрюкаем потом —
Еще в хлеву довольно места.

* * *

Наступают уже холода,
Реки мучит предчувствие льда,
И дымок над серебряной крышей
С каждым часом стройнее и выше.
Сентябрей, октябрей, ноябрей
Столько было, что хватит, пожалуй, —
Все равно ты не станешь добрей,
Как тебя ни хвали и ни жалуй.
Дни проходят, а ты молода,
И от этого кажешься выше,
Как упавшая в небо звезда,
Как дымок над серебряной крышей.

* * *

А небо обрывается у ног,
И кажется почти невероятным,
Что это ты пришла путем обратным,
И даже я смирился и помог.
А небо было, неба больше нет...
Нет ничего. Но если разобраться,
То можно и во тьме увидеть свет, —
Да, можно: нужно только постараться.
Ну что же, вот кровать моя, вот стол.
Попробуй все по-прежнему расставить.
Я здесь, и постараемся представить:
Не ты вернулась — я к тебе пришел.

* * *

О древний рог, столетья спавший в глине,
Волшебный рог, его я славлю ныне.
Сливаю с ним дыхание, и снова
Протяжный звук, таинственный, как слово —
На языке густом и непонятном,
Заманчивом, чужом, невероятном.
Века, века, летящие как дымы —
И ни один не пролетает мимо.
Века, века, горящие как очи —
О есть ли путь забвенней и короче?

Опять жрецов жестокие хламиды,
Опять на плечи давят пирамиды,
И я, уставший от дневного срама,
Снимаю обувь у чужого храма.

* * *

Пишу статьи и занимаюсь прозой,
Спешу закончить повесть к декабрю.
Держу перо, серьезный и тверезый,
Обдумываю, пробую, творю.
Но иногда нисходит озаренье,
Как всплеск весла над холодом реки,
И на столе лежит стихотворенье —
Всего четыре, может быть, строки.
И я сажу с блаженною улыбкой,
И я перо роняю, как весло,
И ушльвывает золотая рыбка,
Которую теченьем унесло.

* * *

Других другим рассказом осчастливьте,
А я хочу о Джонатане Свифте,
Который добрым человеком был.
Да, он рычал, и лаял, и кусался,
Но незнакомым людям улыбался
И в ненависти каждого любил.

Он у гигантши стлал постель под мышкой.
Ее бы с телевизионной вышкой
Сравнить я мог сегодня... Ну и что ж!
Там спал он, там была его квартира,
И там спасался он от вони мира,
Хоть запах пота тоже нехорош.

Известно нам из сведений дошедших:
Хотел он строить дом для сумасшедших
И прятаться от сумасшедших там.
Мы вытираем слезы, как и прежде,
И вдаль глядим в безвыходной надежде,
И я твержу: «Спасибо, Джонатан!»

* * *

Судите и да будете судимы!
Пути Господни неисповедимы.
Но если Бог послал тебе правед
И смертная наглажена рубаха,
Не надо душу растлевать от страха,
А лучше сразу кинуться под нож.
Я не борец — прости меня, о Боже!
Я не герой — вы не герои тоже.
Я не искал судьбы с таким концом,
Чужая мука больше мне не впору...
Опять звучат шаги по коридору,
Но лучше рот залить себе свинцом.
И я несу свой крест по Иудее,
И ни о чем на свете не жалею,
И пот слепит, и горло жажда ест,
И жгут мне спину оводы и плети...
Но мученики двух тысячелетий
Плечами подпирают этот крест.

* * *

Когда я вижу Борю Зеликсона,
Я забываю, что я сам персона.
Я вижу те мордовские края,
Где шел он в ад... И мне б немного ада!
Ну хорошо, не надо, так не надо —
На этом не настаиваю я.
Теперь зима — разминка, ветер, лыжи...
Мне нравится, что он веселый, рыжий,
Что у него печальная жена.
Нальем в стаканы водки или старки!
Бывают новогодние подарки,
Вы — наш подарок... Елка зажжена.
Еще нас ждет удача или слава,
Еще поет нам песни Окуджава.
Что из того, что прошлое в крови?
Нам хорошо — не сломлена отвага.
Поговорим о бурных днях ГУЛАГа,
О Пушкине, о дружбе, о любви.

* * *

Говорят, что японцы нашли Атлантиду,
Но скрывают и все еще ищут для виду.
Но когда разрывается бездна тумана,
Атлантида вздымается из океана.
И гуляют японки по улицам влажным,
И японцы сидят с выражением важным,
И у каменных статуй — не тронул огонь их!
Затонувшие бриги лежат на ладонях.
Годы! Годы мои! Облетевшие годы!
Что забрали вы? Что возвратите обратно?
А на рейде, как прежде, гудят пароходы
И моя Атлантида еще вероятна.

* * *

А он за мидиями плавал,
Волну расталкивал плечом,
А после нам, золотоглавый,
Варил в ведерке их, причем
Читал стихи, — ложилось лето
На профиль бронзовый поэта,
На рыжий взгляд, на лысый лоб,
И по спине бежал озноб.
А в понедельник — ну и встреча! —
Я с ним случайно, сам не свой,
Столкнулся.

Черноморский вечер
Плыл над Литейным, над Невой,
Над Коктебелем и, тем паче,
В том городе, где он сейчас
Колдует, матерится, плачет
И все не может вспомнить нас.

* * *

Скрипок острые выкрики,

Кресел уют...

По какой это выкройке

Музыку шьют?

Вот примерят,

приложат

Протяжный смычок —

И рассыплется ложи,

И в сердце толчок.

Хоть на миг бы один

Мне столетья стереть,

Хоть одним бы глазком посмотреть,

Как он жил,

Как грешил,

Все куда-то спешил,

А потом эту музыку сшил.

И теперь ни меня, ни дневных незадач,

Ни смешной суматохи земной...

Только жизнь. Только смерть.

Подмастерье-скрипач

И лежащий в могиле портной.

* * *

К старухе — горестной и умной,
Блистательной, полубезумной,
Мы едем в гости — сквозь содом
И пиво улицы вокзальной...
И это вовсе нереально,
Что есть она и есть тот дом.
Она торжественно и трудно,
Как бури видевшее судно,
К нам выплывала, как фрегат,
Быть может, чуть и старомодный,
Но затмевавший что угодно —
И день, и ночь, и нас, и сад.
Она ко мне благоволила,
Она стихи мои хвалила,
И если двести лет прожить
(Счастливо или несчастливо),
Сотрется все, лишь это диво
Мне будет голову кружить.
И было так невероятно,
Когда мы ехали обратно,
Казалось выдумкой такой,
Что за углом, за полквартила,
Она бредет домой устало
И сосны трогает рукой.

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

Лежим под пулеметами у вышек
В своей одежде полосатой — там,
Где у костра из краденых дровишек
Босые ноги греет Мандельштам.
Не плачь поэт, юродивый, ученый —
Еще не все философы мертвы.
Сейчас в твоей кастрюльке прокопченной
Забулькает похлебка из травы.
Лохмотья подпоясаны веревкой,
Иззябший камень окаянно гол,
Но снова шелковистую головку
Подсовывает под руку щегол.
А небо стонет над безумным лбом,
И гладит щеки, и бормочет в спину:
«В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где царствует над нами Прозерпина».

* * *

Старинной музыки красоты —
Охоты, выезды, пиры...
Не взяты главные высоты,
Спокойно вертятся миры.
А князя мучает все лето
В бою простреленная грудь,
И все гавоты, менуэты
Его не трогают ничуть.
Он кошелек с наградой прячет —
Характер у него плохой:
Опять жена и гости плачут
Над этой нотной чепухой.

.....
И мы — заснеженные братья —
Бредем по улице втроем.
Со мной Вивальди и Скарлатти
И мы тихонечко поем.
Вечерний город сдвинул крыши,
К струне пристроилась струна,
И на морозные афиши
Нисходят эти имена.

* * *

Четырнадцатого числа,
Когда июнь уже в разгаре,
Я был не то чтобы в ударе,
Но в гору шли мои дела.
И я читал стихи лесам,
Ко мне прислушивались реки
И Вию подымали веки,
Чтоб он увидел, кто писал.
Я был не человек почти —
И боль смешна, и страх неведом.
И друг ходил за мною следом
И говорил: «Еще прочти!»
И я лишь к ночи ощутил,
Что я не Бог, а узник пленный,
Миг вечности, микрон вселенной,
Хотя я всю ее вместил.

* * *

Часы висят над грудой книг,
У них проверен шаг.
Они стучат: «Тик-тик, тик-тик!»
А я в ответ: «Так-так!»
Ты хочешь, глупый часовщик,
Мне сердце разобрать?
Ты мне велишь: «Тик-тик, тик-тик!»
А я: «так-так» опять.
Не попугай, не ученик
И не искатель благ...
Часы стучат «тик-тик» тик в тик,
А я свое: «Так-так!»

* * *

Выступают сверчки —
С них сбивают очки,
Им ломают пюпитры и скрипки,
Но они поправляют свои пиджачки
И опять надевают улыбки.
И торопятся к нотам, и в ритме живут,
И глядят увлеченно и добро...
И тогда их калечат, увечат и рвут,
И пинают и в спину, и в ребра.
Но они поднимаются, эти сверчки,
И опять поправляют свои пиджачки,
Чтоб им было ни густо, ни пусто...
.....
И да здравствует наше Искусство!

* * *

Я в зеркало стараюсь не глядеть,
Приметы лет своих не собираю.
И хоть они со мной — куда их деть? —
Я разговор о смерти презираю.
Но если сходят в землю, к небесам
Мои друзья (такие молодые!),
Я провожу рукой по волосам
И всей ладонью чувствую — седые.

* * *

Льву Зиновьевичу Копелеву

«Gib meine Jugend mir zurück!»*
Я знаю, это невозможно.
Верни мне все: и то, что ложно,
И мой порыв, и мой испуг.
Все отбери: и дом, и честь,
И дар, и вкус, и ум, и силу —
Все то, что есть, за все, что было,
За все, что было, то, что есть.
Не пожалею — отдаю,
Не упрекну, не попеняю...
Я знаю, что на что меняю:
Отдай мне молодость мою!

* Гете, «Фауст».

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Грудь ее была
Как улей на заре, как сад весенний.
Мы, мальчики, робели. Ну а ей,
Мне кажется, не очень-то хотелось,
Чтоб мы пред ней робели... И однажды...
Но тут внезапно началась война.
Теперь я знаю: каждая потеря
Невосполнима. Стоит растеряться,
И растеряешь многое – себя,
Судьбу, надежду... Да, теперь я знаю!
Лет через десять-двадцать я смогу
Похлопать по плечу Мафусаила.
Жизнь удалась. Окончен вкусный ужин.
Жена ушла, сказав: «Спокойной ночи!»,
А я рисую внуку паровозик
И вспоминаю: грудь ее была
Как улей на заре. Нет, не об этом.
Подумай лучше о другом, хотя бы,
Что грудь ее была как сад весенний.
Я был дурной пчелой... Вот и осталось:
Очки в футляр, ботинки к батарее...
И пусть нас мучат молодые сны.

* * *

Скажи, чего ты хочешь?
Уже сошли с ума
Рассолом белой ночи
Омытые дома.
И этой ночью белой
Я шел по мостовой,
Прищелкивая пальцами,
Качая головой.

Была в Неве сегодня
Соленая вода.
За мной плелись неслышно
И горе, и беда,
Они мелькали в окнах,
И слезы всех времен
Ко мне из подворотен
Текли со всех сторон.

Уже был рядом где-то
Мой главный перевал,
А я не знал про это —
Я шел и напевал.
А я не знал про это,
И шел по мостовой,
Прищелкивая пальцами,
Качая головой.

ЗА ПЕРЕВАЛОМ

* * *

А как вещи мои выносили,
Все-то вещи по мне голосили:
Расстаемся — не спас, не помог.
Шкаф дрожал и в дверях упирался,
Столик в угол забиться старался,
И без люстры грустил потолок.

А любимые книги кричали:
«Не дожить бы до этой печали!
Что ж ты нас продаешь за гроши?
Не глядишь, будто слезы скрываешь,
И на лестницу дверь открываешь —
Отрываешь живьем от души».

Книги, книги, меня не кляните,
В равнодушных руках помяните,
Не казните последней виной.
Скоро я эти стены покину
И, как вы, побреду на чужбину,
И скажите — что будет со мной?

* * *

И ни двора,
И ни кола —
Только с утра
Колокола.
Ты бы их в тень
Переплела —
Только весь день
Перепела.
Где ж она, мгла?
Может, была...
Перепела,
Колокола.

* * *

Людольфу Мюллеру

Никогда не видать тебе, вьюга,
Этих красок цветущего юга.
Из-за правого, что ли, холма
Вырывается к небу дорога
И доводит до самого Бога,
Если только не сводит с ума.
И в душе моей, как говорится,
На рассвете такое творится,
Будто вправду я в Божьем огне,
Будто впрямь у престола Господня,
Будто что-то случится сегодня —
То, что с детства обещано мне.

* * *

К нам из Штутгарта звонят.
(Белый град стучит по крыше.)
Я волнуюсь... Я не слышу...
Кто к нам едет? Как я рад!
А вчера звонил Париж,
Я опять друзей увижу.
Как примчатся «из Парижу»,
Ты пирог соорудишь.
Кто еще звонил? Мадрид?
Вся земля к нам едет в гости.
Всех устроим на ночь... Бросьте...
Кто об этом говорит!
Лишь Москва и Ленинград —
Два пожарища, два рая,
Слез прощальных не стирая,
Как убитые молчат.

* * *

Ой, Алеша,
Спой, Алеша,
Про черемуховый цвет.
Нынче день такой хороший,
Да России с нами нет.

Ой, Алеша,
Спой, Алеша!
Покатились наши гроши,
Наши русские гроши
В добродушные ладоши,
На окраину души.

Как легко тебе внимают!
Как отлично понимают!

Запоешь «Калитку» или
Грянет грозный «Хаз-Булат»,
— А вы сами сочинили
Эту песню? — говорят.

Очень хлопают, Алеша, —
До чего концерт хороший!

И закрывшись песней старой,
Пряча стыдных слез разбег,
Ты стоишь один с гитарой,
Бедный русский человек.

Давай от мыслей хмурых
Уедем в город Урах,
Уедем в город Урах,
Где светлый водопад,
Где отдыхают тени,
Взяв церковь на колени,
Где в мох ушли ступени,
Как триста лет назад.

Здесь яблони и груши
Бегут по сторонам
И яблоки, и груши
Протягивают нам.

Холмы в лесистых шкурах —
Мы едем в город Урах,
Мы едем в город Урах,
Где колокола звон,
Где знают даже дети
Веселый счет столетий,
Веселый счет столетий
И музыку времен.

Здесь были и небылицы
На голоса свои
Раскладывают птицы —
Скворцы и соловьи.

И в их фиоритурах
Нам слышен город Урах.
А где он, город Урах?
Мелькнул — и был таков.
Лишь облачко клубится,
А, может, это птицы,
Рассказы черепицы
И выдумка веков.

* * *

А вечером я уходил туда,
Где к озеру спускается ограда,
Обняв кусочек поля,

а за нею

С коровами пасется старый конь.
Я звал его тихонько: «Йгнац! Йгнац!»
И он ко мне бежал, как жеребенок,
И голову просовывал меж кольев,
Облепленную мухами. И ждал
Не корки замусоленной, а дружбы.
И он мне говорил: «Я конь! Я конь!
Мое седло у Божьего порога
Валяется — и ангел не поднимет».
И подходили добрые коровы,
Сочувственными мордами мотали,
И, фыркнув, бил он задними ногами,
И те в испуге пятились.

А я...

Я шел домой, исполненный печали,
И слышал за спиной: «Я конь! Я конь!»

* * *

Никогда я прежде не был
В этой щедрой синеве:
В окнах — небо, в соснах — небо,
Небо дышит на траве.
Неужели я по свету
Столько лет бродил во тьме?
Кто поставил церковь эту
Белой свечкой на холме?
Не ходи путем окольным —
Смотрит ангел с высоты,
И прибрежные кусты
Пахнут звоном колокольным.

РИМ

На Рим опускается вечер прозрачный,
Но этого мало для строчки удачной,
А площадь у храма Святого Петра
Никак не наколешь на кончик пера.
Вот мрамор столетий, веков колоннада,
Но кто-то тебя уверяет: «Не надо!»
Вот масло картин и алтарь золотой,
Но кто-то тебе повторяет: «Постой!»
Тебя среди великого малое тронет:
Вот ветер бумажку по улице гонит —
И мчится она, под колеса спеша,
Как белая вспышка, как чья-то душа,
Как миг, как надежда, как смерть, как отсрочка,
Как море, как небо, как первая строчка.

* * *

Лизе Бруццоне

В окно глазели вафельные крыши.
В саду я виноградники услышал.
Я вышел к ним, они меня позвали —
Мне ягоды вопросы задавали.
«Скажи, скажи, ведь мы теперь соседи:
Ты, правда, русский? Белые медведи
По Петербургу бродят и доньше?
А где твой Ленинград — на Украине?»
И были так милы мои соседки,
И пиния протягивала ветки...
Я к морю шел и ждал вестей оттуда —
Восьмое чудо света, чудо-юдо.

* * *

Когда я брел в ночи обманной,
Вникая в тайны ремесла,
Мне неожиданно и странно
Тень Данте путь пересекла.
Уже миров нездешних житель,
Земную он хранил беду.
Но дерзко я сказал: «Учитель,
Я сам не раз бывал в аду».
Он вздрогнул и исчез бесследно,
Ушел в воздушную струю...
И только шепот: «Бедный... бедный...
А был ли ты хоть раз в раю?»

* * *

Не падай, Пизанская башня, не падай.
Твои миллиметры инфарктам подобны.
И если ты рухнешь — не надо, не надо! —
Земля задохнется от пыли надгробной.
О как он прекрасен — наклон твой смертельный,
Доверчивый угол, полет над судьбою!
Но я не могу, не умею отдельно —
Я телом и жалостью слился с тобою.
Войду я в столетья, как в пену, как в пену,
В кольцо восхищенья побуду, побуду...
Потом покачнусь я и руки воздену,
И гулом падения кончится чудо.

* * *

Ива-ивушка прилегла
На траву — разморило лето.
Ручеек блестит, как игла,
Через ветви ее продетый.
Поднимаю я ту иглу,
Зашиваю себе полу,
Сто пророчеств и сто одиночеств
Ходят мимо меня по стволу.
А игла ускользает из рук,
Колет пальцы живая прохлада...
«Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый друг!»

ПЕСНЯ

Здесь Дунай омывает сады,
Здесь трава, как в раю, высока...
Далеко мне теперь до беды
И беда от меня далека.

Ты налей-ка чайку, да покрепче налей,
Да ко мне подойди, да меня пожалей.

Из кровавых и душных тенет,
Сам не знаю, как вырвался я.
Не согнулся, не сподличал, нет! —
И меня не осудят друзья.
Под их шепот: «Давай тебе Бог!»
Стал я птицей в юдоли земной.
Если в камере стукнул замок,
Значит заперли дверь не за мной.

Ты налей-ка чайку, да покрепче налей,
Да ко мне подойди, да меня пожалей.

Весь в слезах, но с судьбой и сумой,
Без вины, но простите меня,
Век я гнался за волей самой —
Вот и дожил до этого дня.

Ты налей-ка чайку, да покрепче налей,
Да ко мне подойди, да меня пожалей.

* * *

Семейные дела,
Шоссейные тревоги —
Подумать бы о Боге,
Да скорость не дала.
Поминки, торжества,
Мельканья, повороты,
Кружится голова,
Сбивается со счета.
И бедная земля
В молниеносном мире
Вся, как полет валькирий
Или полет шмеля.
О нет, мы не хотим!
Нам ветер ненавистен!
Уже сухие листья —
Летим, летим, летим.
Без смысла, без числа
Торопятся дороги...
Подумать бы о Боге,
Да скорость не дала.
Туманно впереди,
Теперь недолго — знаю.
Мучительно к груди
Я руку прижимаю.
Душа изнемогла,
Пора подбить итоги...
Подумать бы о Боге,
Да скорость не дала!

* * *

Сижу один. Доедаю
Сладкую сайку жизни –
Второй у Бога не купишь.

* * *

Моя жена в тени
Коричневого кедра
Перебирает дни,
Рассыпанные щедро.
Как будто на весы
Укладывает в спешке
Все эти дни, часы —
Кедровые орешки.

А тень растет. А тень
Наглеет и дерзает —
Перелезает пень,
Ручей переползает,
И в сторону мою
Старается разлиться,
И я уже стою
Почти что на границе.

Граница. Самолет.
Прощанье с белым светом.
Я ночи напролет
Все думаю об этом.
Моя тоска все дни
Горит и не сгорает...
Сидит жена в тени
И жизнь перебирает.

* * *

Ну что ж, тра-та-та, мы прожили неплохо.
Стучит барабан, догорает эпоха —
Она не оставила нам ни черта...
И все ж тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та!

На первое — детство, война — на второе.
Ну что ж, тра-та-та, мы не вышли в герои.
Одна только доблесть у нас на веку —
Мы телом свою прикрывали строку.

Ну что ж, тра-та-та, седина не помеха.
Все тише в лесу откликается эхо.
Закат поджидает. Дорога крута.
И все ж тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та!

СТИХОТВОРНЫЕ ЦИКЛЫ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВЕНОК СОНЕТОВ

1

На языке неповторимый вкус.
Мой путь к тебе был длинен, длинен, длинен,
Но все равно просвет меж нами вклинен
И я его осилить не берусь.
Ты ловко когти спрятала — и пусть!
Против повадок хищных я бессилен.
И как бы ни был я любвеобилен,
На жалость я твою не обопрусь.
Венок сонетов от твоей руки
Увянет после первой же строки.
Я для тебя — куда бежать изгою? —
Кольцо, в досаде брошенное вдруг,
Наскучивший любовью детский друг,
Шампанское с растерзанной фольгой.

2

Шампанское с растерзанной фольгой —
Ее ты рвешь в клочки, наискосок.
Щелястый, из поломанных досок,
Дом на песке я, обезумев, строю.
Окутан он пургою и тоскою.
А что песок? Он все-таки песок.
Пусти меня погреться на часок —
Неужто я и этого не стою?
Ты думаешь, что я сейчас войду,
Как было летом в нынешнем году...
Не думай так — я занесен пургою.
Не думай так — обида глубока,
Не вздрагивай от каждого звонка:
Я стал другим, и стала ты другою.

3

Я стал другим, и стала ты другою...
 Вот дом, где разбиваются сердца!
 Я ухожу, не повернув лица.
 Я полон прошлым, ты полна собою,
 Я уступил, а ты готова к бою —
 Начало интереснее конца.
 Гудит машина около крыльца
 Мне вслед иерихонскою трубою.
 Что ж, ясно все: он человек солидный.
 Стихов не пишет — с ним нигде не стыдно.
 (Я шага не ускорю, я не трус.)
 Он физик или даже математик...
 Язвить не нужно. На сегодня хватит.
 И, наконец, разорван наш союз.

4

И, наконец, разорван наш союз,
 Я рву его, как разрывают ворот,
 Но ничего не понимает город
 И не перенимает этот груз.
 Кто говорил, что я не обернусь?
 Соперник? Час даю ему на сборы!
 Он к выходу, а я по коридору.
 Шестерка он, а я козырный туз.
 Зачем ты руки тонкие ломаешь
 И тоже ничего не понимаешь?
 Я не вернусь... Я не козырный туз.
 Мы рифмы, мы добыча для сонета.
 А что сонет? Разменная монета.
 Не надо нам ни праздников, ни муз.

5

Не надо нам ни праздников, ни муз.
 Молчит перо, безмолвствует бумага,
 Былая стихотворная отвага
 Уходит, как вода уходит в шлюз.

Я слышу неба окаянный хруст:
Все рушится — лови обломки, скряга!
Все задохнулось — отказала тяга.
Все оборвалось — даже стон из уст.
С последним вздохом падают мосты,
И фонари, как сгустки темноты.
Земля покрыта звездною лузгою:
Она дробится под моей стопой,
Она хрустит яичной скорлупой —
Вселенная останется нагою.

6

Вселенная останется нагою,
Пустынный шар кружится в пустоте
И нагота взывает к наготу...
Исчезли Лондон, Генуя, Нагоя.
Скажите мне, какой тут нужен Гойя?
Я не пишу — слова уже не те.
Но я хочу вернуться к красоте
Деревьев, поля, женщины, прибора.
Орел крылами смерть свою задел,
А у меня сегодня столько дел —
Мне даже смерть не кажется каргою.
Я лань спасу, я вызволю орла...
Но, если б ты меня и позвала,
Я в прошлое отныне — ни ногою.

7

Я в прошлое отныне — ни ногою.
Я проглочу колючий этот ком.
Поверь мне, я не буду дураком:
Ты не одна, обзаведусь другою.
Она мне тоже станет дорогою.
Я плечи ей окутаю платком.
Мы новый фильм посмотрим вечером.
И если боль согнет меня дугою,
И прошлое посмеет мне явиться,
И так знакомо скрипнет половица —

Не торжествуй, я справлюсь, я не трус...
Ты нас своею тенью не обидишь.
С другой мне будет лучше — вот увидишь.
И, наконец, разорван наш союз.

8

И, наконец, разорван наш союз...
Уйду к чужим несчастьям и утратам.
И Лермонтов мне делается братом,
А с Пушкиным я встречи побоюсь.
Я к Байрону, как мальчик, прислонюсь,
Я постою перед его закатом.
Я с Квазимодо хмурым и горбатым
Губами лба возлюбленной коснусь.
Я, преклонив колени, плакать буду,
Я, как и он, сквозь слезы не забуду
Закрытых глаз, откинутой руки...
Гудят колокола над всей страной —
Ведь это ты лежишь передо мною...
В затылке — крови острые толчки.

9

В затылке — крови острые толчки.
Друзья собрались, а помочь тут нечем.
Боль не поделишь, не подставишь плечи.
«Брось!.. Мир не так уж плох... Протри очки...»
«Смотри... вот рыболовные крючки...»
«Вот шахматы... Сыграем, человече?...»
Небрежный тон, растерянные речи,
Дымок костра и ветер от реки.
Друзья! Пусть без меня река струится,
Пускай живут щуренок и плотвица.
(Передо мной плывут твои зрачки.)
Зачем собрались вы в тревожной спешке?
Мне не помогут ни лады, ни пешки...
Мы столько лет играли в дурачки!

Мы столько лет играли в дурачки...
 И столько лет (вы знаете влюбленных!)
 Нарочно я не видел карт крапленых —
 Чуть зримые царапинки, значки,
 Они мелькали, словно паучки...
 Я был из тех, коленопреклоненных,
 Томящихся на углях раскаленных —
 Переносил подачки и щелчки,
 Служил, как пудель, канарейкой пел,
 Ты уходила с третьим — я терпел.
 Не слишком ли? Пора и спохватиться!
 Я был из тех — паяцев и тетерь...
 Не слишком ли? Пускай другой теперь...
 Я, кажется, забыл с тобой проститься.

Я, кажется, забыл с тобой проститься,
 Себя преодолев или поправ.
 Здесь, на Аничковом, смиряют нрав
 Коню, что хочет улететь, как птица.
 Пойми: ему вовеки не смириться.
 Зачем его удерживать? Он прав!
 Лицом зарывшись в гриву и припав
 К гордыне шеи, с ним хочу я взвиться.
 Кентавром двухголовым и несчастным
 Над сонмом крыш, над городом прекрасным
 В ночную тьму и все проплакать ей,
 И пусть меня мой конь, объятый мглой,
 Пронзит адмиралтейскою иглою...
 Какая мгла на лестнице твоей!

Какая мгла на лестнице твоей!
 Я не ушел — мне только показалось.
 Изнеможенье, смертная усталость,
 Бреду по кругу миллионы дней.

То черный мрак, то золото огней:
Отчаянье и радость — все смешалось.
Себя жалею — презираю жалость,
Тебя казню — и нет тебя родней.
Я сторожу на вымерзшей площадке.
Ты перед сном расчесываешь прядки.
Так укротитель мучает зверей!
Ты погасила свет — так тушат факел,
И мы с тобой в одном-едином мраке...
Но мне — спуститься к свету фонарей?

13

Но мне — спуститься к свету фонарей?
Пусть навсегда продлится эта пытка!
Мне ненавистна каждая попытка
Бежать от трижды проклятых дверей.
Площадка... и тепло от батареи...
Я не сомну исписанного свитка.
Еще глоток любовного напитка...
Еще глоток... согрей меня... согрей...
Ну что ж, я проиграл и этот бой,
Хотя я вел его с самим собой —
Тебя забыть, с тобою распроститься,
Как с Квазимодо сумрачным опять
Над белою невестой постоять,
Как будто в прорубь темную спуститься.

14

Как будто в прорубь темную спуститься...
О как она бездонна и мертва!
Не грянет солнце, не взойдет трава,
Утенок в лебедя не превратится.
Но может снова сердце покатиться,
И я еще могу — живой едва —
Услышать твои лживые слова
И на щеке почувствовать ресницы.
И снова губы, как воспоминанье,
Узнают твое робкое дыханье,

Твой полупоцелуй-полуукус...
Зачем зовешь? Я ничему не верю...
Сонет встает и закрывает двери —
На языке неповторимый вкус.

15

На языке неповторимый вкус,
Шампанское с растерзанной фольгой...
Я стал другим, и стала ты другою,
И, наконец, разорван наш союз.
Не надо нам ни праздников, ни муз,
Вселенная останется нагою:
Я в прошлое отныне ни ногою.
И, наконец, разорван наш союз.
В затылке — крови острые толчки.
Мы столько лет играли в дурачки.
Я, кажется, забыл с тобой проститься...
Какая мгла на лестнице твоей!
Но мне — спуститься к свету фонарей,
Как будто в прорубь темную спуститься.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА – БОЛЬШАЯ ПЕЧАЛЬ

1

Большая дорога – большая печаль.
И просишься в путь, и не тронуться в даль.
Давай! Ты меня помоложе...
Ну что ж ты ? Не тронуться тоже?
Опомнись! Такая сгущается тьма,
Что скоро по-волчьи завоют дома.
Ты радостный, ты быстроногий...
Ну что ж ты стоишь на пороге?
Зачем ты качаешь опять головой?
Зачем ты снимаешь мешок вещевой?
Все верно. Не мучайся. Сядем.
И старые стены погладим.

2

Так вот что значит слово «навсегда»!
Друзья! Поток их горький нескончаем.
О скольких мы вершин не замечаем –
Как поредела горная гряда!
Уходит в ночь вагонное окно
И самолет исчез в глумливой сини...
А мы – домой... Нам скоро суждено
В своей стране остаться на чужбине.

3

Стою смешной и полуголый,
Почти не прячась под сосной.
А дождик редкий и веселый –
Российский дождик ледяной.
Иглоукальваньё это
Весьма полезно для поэта,
Особенно, когда поэт
(Смотри: он здесь еще, он рядом!)
Запоминает грустным взглядом

Все то, что видит напослед.
Он смотрит долго, неотрывно
На этот холм простой и дивный,
На кипень белую берез
И на досчатый дом, который
Зовет его, раздвинув шторы,
Охрипнув от внезапных слез.

4

Вот дом, где мог я жить. Как он закатом вышит!
Не вышло. Так всегда. Я к этому привык.
Горит мое окно... Друзья б сказали: «Пишет!»
Вот чей-то силуэт за стеклами возник.
Намеченный едва, действительно похожий,
Прозрачный и сквозной — он кажется душой.
А может, это я? Но кто тогда прохожий,
Стоящий под окном на улице чужой?
Я в комнате моей, где луч заката бродит.
У пристани своей. У берега своего.
Я здесь. Я у себя. А он пускай уходит —
Я не хочу страдать и думать за него.

5

Облака плывут, облака...
А. Галич

Провода гудят, провода.
«Никогда, — твердят, — никогда!»
«Возвращайся!» — лепечет сад,
Зная: нету пути назад.
Говорит мне ветвистый дуб
(Он всегда был немного груб):
«Будешь плакать лицом к стене,
Если вспомнится обо мне».
Ухожу, а тоска тесна.
Дни стоят, как в угрюмом сне.
А ночами лежу без сна,
Повернувшись лицом к стене.

6

Милый друг, обрывается нить.
 Вот и не о чем нам говорить,
 Лишь глядим друг на друга в печали.
 Жалок дружбы последний улов...
 Не находим ни мыслей, ни слов —
 Даже души у нас замолчали.
 Но лежит (хоть надежда слаба)
 Где-то там золотая труба,
 И Архангел к ней губы приложит.
 И тогда мы сойдемся опять,
 На земле или нет — не понять,
 И узнаем друг друга, быть может.

7

Друзья уезжают в далекие страны,
 Я тоже пакую свои чемоданы:
 Я дом упакую, я площадь вложу...
 Потом затоскую, но вам не скажу.
 Я вам не скажу, что припрятал ограду
 И нежность к Фонтанке и Летнему саду.
 Пускай полежат они в темном тепле,
 Не зная, что бродят за мной по земле.
 Что можно, с собой захвачу я в изгнание,
 И этим я Божье смягчу наказание,
 И где-то в Париже, у слез на краю,
 Увижу Дворцовую площадь мою.

8

Хотите, я вам нарисую
 Две лодки и два корабля,
 И землю, с которой простился?
 Пускай уплывает земля!
 Пускай уплывает, не жалко...
 Зачем она машет плащом?
 Полжизни на ней протрубили,
 Полжизни осталось еще.

Уходит она в повороте,
Который не преодолеть...
Пускай уплывает, не жалко...
Ах лучше бы мне умереть!

РЕКВИЕМ

1

Как весело ели
Сегодня шумели,
А завтра — обычай таков! —
Закроются веки
И только: навеки,
Навеки во веки веков!
Над крышами кружит,
За окнами вьюжит,
Но щелкни хоть сотней замков,
Закроются веки
И только: навеки,
Навеки, во веки веков!
Ты труд свой оставишь,
Ты точку поставишь,
Положишь плиту для венков...
Закроются веки
И только: навеки,
Навеки во веки веков!

2

Что с нами случилось, Витя Соснора?
Думаем медленно, пишем не споро.
Где наши лавры, литавры и пыл?
Где наши муки, скажи мне на милость?
Солнце поэзии не закатилось
И не остыло, а я вот остыл.
Больше восторг мои губы не сушит,
Ворот застегнутый больше не душит —
Нету охоты его распахнуть...
Но издалека (Чего не бывает!)
К берегу тихо корабль подплывает —
Белые крылья и алая грудь.
Мы поднимаемся дерзко по сходням.
Что это с нами случилось сегодня?

Жадно мы пробуем ветер морской.
Снова кружить нам в морях одичалых,
Снова нас ждут на высоких причалах —
Утро встречает и машет строкой.
Милый товарищ мой, старый товарищ,
Скоро ли ты сигарету нашаришь?
Спичка уже обгорела на треть...
Что ж ты в глаза мне не смотришь впервые?
А над верандой шумят вековые
Сосны, которым не страшно стареть.

3

Все лучше, все хуже читаю стихи...
Срастаясь с печалью и риском,
Мой голос уже не уходит в верхи,
А стелется в рокоте низком.
Как будто спеклись в нем и ярость, и лед,
И горе — и все, чем живете,
И, пряча глаза, я веду самолет
На бреющем страшном полете.

4

У Семеновых топят,
Значит, осень пришла,
Значит, время торопят —
Вот какие дела.
И свистят электрички,
И бегут вдоль окна
Станций звонкие клички —
Дачных мест имена,
Этот день неподсуден,
Не желтеют сады,
Ходят строчки и люди
Мимо невской воды,
Деловит, как хозяин,
Катерок на волне...
И весь город изваян
Не вокруг, а во мне.

Умираю в больнице
Наяву, наяву,
А ночами мне снится,
Что я снова живу.

5

Когда я был молод,
Никто не умирал.
Никто,
Даже старики.
А сегодня умирают все —
И старые, и молодые.
Смерть приходит к человеку с возрастом,
И это так печально,
Что об этом почти не стоит говорить.
На улице играет музыка,
Но мой сын ее просто не слышит,
А я знаю,
Что это опять кого-то хоронят...
Господи!
Неужели меня?

6

Мы вдоль заката медленно идем
И разговор ведем неторопливо,
Как будто лодку медленно ведем
Вдоль медленного берега залива.
А за пригорком — темная вода
И старый грек, нахохленный, как птица,
И холодок блаженства... Но туда
Нам, в сущности, не стоит торопиться.
Куда б ни шли мы, путь туда ведет.
Грек встанет, лодку жестом предлагая.
Монетки нет. Но я предполагаю,
Что он и даром нас перевезет.

ЗАПЛАЧУ О НЕВЕРИИ СВОЕМ

1

А в наш ужасный век,
Среди иных планет,
Я знаю: человек
Не вывернется, нет.
Налей вина мне, Пирр!
Твоя победа — тьма,
Как наш последний пир,
Когда вокруг чума.
А если Бог и есть,
За нас, за наш убой
Он чокнется, Бог весть
С кем — может, сам с собой.
Он Бог, он в небеси,
Но в нем клокочет бес:
Пощады не проси
У чокнутых небес.
Последний танк рычит,
Последний мозг кричит,
И в страхе воеет плоть:
«Прости меня, Господь!»
Налей мне, Пирр! Я прах,
Но я и Вечный Жид.
Что у тебя в руках
Бутылка дребезжит?
Он Бог, он судия,
Я копошусь внизу...
Но даже к Богу я,
Как червь, не поползу.
Средь атомных шутих,
У бездны на краю
Я обопрусь на стих
И встречу смерть мою.

2

И вновь больничные палаты...
 Прими лекарство, бинт сверни.
 А Бог опять взимает плату
 И пересчитывает дни.
 Его всевидящее око,
 Его бестрепетная длань
 Неторопливо и жестоко
 Перебирают нашу дань.
 Ну что ж, кичись своей казною!
 Мы не в обиде, мы в тоске.
 Мы прячем руки за спиною,
 Зажав монеты в кулаке.
 Идет беда по коридорам,
 Сосед притих и спал с лица...
 И этим Божеским поборам
 Не видно доброго конца.

3

А три раввина собрались втроем,
 Решая непосильную задачу.
 И думали: я все-таки заплачу,
 Заплачу о неверии своем.
 Они к молитве созывали всех,
 И над душой поверженною бились.
 И за меня, как за себя, молились,
 Почти что не надеясь на успех.
 А я, лежавший в пепле и в дыму,
 Не реял в небе и рекой не лился...
 И не ЕМУ, но все-таки молился,
 И сам себя обманывал: ЕМУ!

4

Почему от слова «плачет»
 Перехватывает дух?
 Разве это что-то значит —
 На бумаге и не вслух?

Почему от слова «горе»,
Позабыв тропу свою,
Я, как дуб на косогоре,
Опечаленный стою?
И, других оберегая,
Я себя не уберег.
Вот пишу, стихи слагаю...
Почему от слова БОГ?..

5

Младенец в яслях, что глядишь
Тревожно, как пророчество?
Что, дерево, листвой гудишь,
Иль стать крестом не хочется?
Не хочется! А ночь в упор,
Вонзились звезд зазубрины.
Уже откован тот топор,
Которым будешь срублено.
Уже откован тот топор,
По ветру ветки маются...
Младенец руки распростер,
На ножки подымается.

6

Был хлеб веселым круглолицым парнем,
Он к нам ввалился прямо из пекарни
С коричневой от зноя головой.
Дымился он довольными ломтями
И, сдвинув скатерть дружными локтями,
Мы пиروвали в радости живой.
Ручьем вилась свободная беседа,
Сосед, смеясь, перебивал соседа,
Бутылка кочевала вдоль стола...
Вдруг словно тень какая-то прошла.
И все преобразалось постепенно:
Менялся стол, вытягивались стены,
Свисала скатерть, мокрая от слез,
Стал черствым хлеб, не звякала посуда...

И мы не знали, кто из нас Иуда,
А кто — Христос.

7

Как манят тридцать сребреников! Руку
Протянешь и отдернешь. Но Иуду
Семь раз предашь анафеме, за то, что
Он руку протянул и не отдернул.

8

Не лгите мне... Не я распял Христа!
Я даже не сколачивал креста,
Я даже не выковывал гвоздя
И не смеялся, мимо проходя,
Я даже и в окно не поглядел...
Я просто слышал, как народ гудел —
Мне было зябко даже у огня
И странно слиплись пальцы у меня.

9

На чердаке заброшенном — рояль,
Его нутро гудит от непогоды.
Туда спускался Бог седобородый,
Сидел, поставив ногу на педаль.
Откинувшись, закрыв глаза на миг,
Он клавиши какой-нибудь касался...
Но даже мне он Богом не казался —
Суровый и измученный старик.
Дом оживал — скрипучий, беспокойный,
Дом спрашивал его: «Неужто зря?»
В окно, как волны, колотились войны,
Басы гудели, словно лагеря.
Рояль дышал и вздрагивал под пылью,
И в этот час один лишь я и знал,
Как плакал Бог от страха и бессилья
И голову на клавиши ронял.

10

На Купчинском шоссе у переезда
 Ждем поезда... Уже грохочет тьма.
 Над нами небо — гулкий лист железа,
 И траурные черные дома.
 На Купчинском шоссе у поворота
 Струится ночь, как горькая вода.
 Открой нам, Петр, небесные ворота
 И мы войдем, потупясь от стыда.
 На нас грехи, как скользкие отрепья,
 Мы крест не смеем приложить к устам,
 Но поезда во всем великолепье
 Влетают в рай за нами по пятам.
 И все — мужчины, женщины и дети —
 Подобия катящихся планет.
 И больше нету грешников на свете,
 Но — Господи! — и праведников нет.

11

Входят в мир мой, который не выжжен
 И пребудет со мною вовек,
 Кошка Бишка и сын ее Иржик,
 И собака по имени Гек.
 Надвигается мгла без спасенья,
 Но я верю, я верю, Господь,
 Что настанет пора воскресенья —
 Дух оденется в новую плоть.
 И тогда я, счастливый, увижу,
 Что воскресли — как я, человек —
 Кошка Бишка и сын ее Иржик,
 И собака по имени Гек.

12

Если где-то на крыши
 Опустилась печаль,
 Слышу, Господи, слышу,
 Жаль мне, Господи, жаль.

Если мимо незрячий
Идет человек,
Плачу, Господи, плачу —
Не утихну вовек.
Я, как рана сквозная,
Весь приникнул к ножу.
Знаю, Господи, знаю —
От рыданий дрожу.
Все небесные грозы,
Все земные моря —
Это, Господи, слезы,
Это мука моя.

13

Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Боже, дай подняться, дай собраться с силой.
Я тебя не видел, я тебя не знаю...
Дай прожить, ладони кровью не пятная.
Огради от горя, охрани от муки —
Я тебе целую сморщенные руки.
Даже если вправду нет тебя, Владыка,
Упаси от раны, удержи от крика.
Сжался надо мною, сделай землю милой...
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!

ПАМЯТИ ЛЬВА ДРУСКИНА

В Ленинграде жил необычный человек по имени Лева Друскин. Он родился в 1921 году, жил здесь до конца 1980-го, писал отличные стихи, а потом эмигрировал не по своей воле в Германию и умер там в 1990-м. Я с ним дружил и теперь хочу написать несколько страниц в память о нем — тем более что 8 февраля этого года исполнилось сто лет со дня его рождения. А все, кто его знал (теперь таких уже немного осталось), подтвердят, что Лева в высшей степени заслуживает нашей памяти.

Где-то в начале 1960-х мой друг Алик Шейнин сказал мне: «Слушай, у меня есть один знакомый, он инвалид, не может ходить. Его бы надо отвезти на дачу, а мой „горбатый“ (так называли автомобиль „запорожец“, „ЗА3-965“ — М. П.) опять захворал. Может, ты его отвезешь? Его зовут Лева Друскин. Познакомишься с ним — не пожалеешь...» А у меня был тогда «Москвич-407» под названием «стиляга», предмет моей любви и гордости. Я согласился, и это обстоятельство стало началом знакомства, а затем и дружбы с Левой.

Приехав к Лева, я увидел полноватого человека, лежавшего на тахте на левом боку, подпиравшего левой рукой большую голову с взлохмаченными полуседыми волосами. Он писал о себе: «В молодости друзья говорили, что я похож на Багрицкого — копна волос, романтическая внешность. Потом я растолстел и стал похож на Балзака...» Его глаза лучились необыкновенной живостью и добротой. Когда я подошел к нему, чтобы познакомиться, он потянулся ко мне, и мне даже показалось, что он хочет меня обнять. Весь его облик излучал дружественную приветливость, благодарную готовность к общению. Позднее я убедился, что Лева таким образом всегда встречал новых для него людей. Приходящие к Лева были элементами внешнего мира, труднодоступного для него. Он стремился максимально ускорить процесс сближения, сразу же вызывая к непосредственности, откровенности. И это ему удавалось благодаря его обаянию, уму, остроумию, подкупающей внимательности к собеседнику. Так было и со мной. Буквально через несколько минут он уже узнал, понял и оценил, что я собой представляю. Очевидно, его оценка была положительной. Я, со своей стороны, был буквально им очарован. Позднее его жена Лиля рассказала мне, что еще перед моим появлением, когда Алик Шейнин продиктовал мой номер телефона и Лева стал записывать его в их кожаную телефонную книжку, у них произошел такой диалог:

Лиля:

— Зачем ты записываешь сразу в кожаную книжку?

Лева:

— Вот увидишь, подружимся.

Он оказался прав. Наша дружба длилась десятки лет вплоть до его кончины.

Зоценко как-то сказал: «Конечно, мы, советские писатели работаем не ради гонорара. Но гонорар вносит известное оживление в нашу работу...» Перефразируя Михаила Михайловича, я должен заметить, что наша долгая дружба слевой основывалась не только на автомобильных поездках. Но они вносили в нее известное оживление. Помню, я как-то вез его зимой то ли на дачу, то ли в комаровский Дом творчества. Для того чтобы придать нашей поездке некоторую нестандартность, я повез его и Лиллю не обычным путем, по Приморскому шоссе, а окольным — через пустынную Левашовскую дорогу, огибающую Ленинград с севера. Узкая, окаймленная снежными брустверами дорога шла, извиваясь, между невысокими пологими холмами, поросшими мелкоколесым пустошам, мимо редких барачных поселков, занесенных по окнам снегом. Лева, сидевший справа от меня, с интересом и явным удовольствием всматривался в незнакомую для него местность. Погода между тем хмурилась, начался снегопад, который быстро превратился в настоящую пургу. Тут мне пришлось худо. Снег залеплял ветровое стекло, стеклоочистители не успевали его убирать. На давно не чищенной дороге быстро образовались снежные барханы, машину стало заносить, она временами буксовала. У нас тогда не было зимних шин с шипами, мы ездили на летних шинах, у меня уже довольно стертых, «лысых». Вдобавок стало быстро темнеть, пришлось включить фары. Я не на шутку испугался и проклинал себя за легкомысленное решение ехать таким путем. Чувствовалось, что и Лиле, сидевшей сзади, было не по себе. Только Лева буквально ликовал. Всматриваясь в снежную круговерть в свете фар, он восклицал: «Ребята, как замечательно, как красиво! Никогда я не видел такого великолепия!» Слава богу, мы выбрались тогда из пурги, выехали на расчищенное Приморское шоссе и благополучно доехали до места. Под влиянием наших поездок Лева написал посвященное мне стихотворение «Спасибо за движение»:

Спасибо за движение!
Что может быть блаженнее?
Выходят на сближение
Далекое поля.
Выходят на сближение,
Меняют положение —
В их царственном кружении
Участвую и я.

Планета не смущается,
Что так перемещается.
Движенью все прощается —
Теперь я вечно с ним.
И вдруг теней мелькание
Прервалось, как дыхание,
Исчезло, как дыхание.
И мы уже стоим.

Но что мне грядки сытые,
Меж двух строений вбитые,
Скамейки, насмерть врытые
У тихого крыльца?
В моем воображении
Дороги натяжение,
Во мне гудит движение —
И нет ему конца!

Из наших слевой автомобильных отношений нельзя не вспомнить, пожалуй, наиболее яркий эпизод — нашу поездку в Комарово к Анне Андреевне Ахматовой 2 сентября 1965 года. Лева, живший тогда на даче в Зеленогорске, знал, что я дружу с Толей Найманом, входившим в близкий круг Ахматовой. Поэтому он попросил меня устроить через Толю его визит к ней, тем более что она жила поблизости. Я к тому времени с Анной Андреевной был уже немного знаком. Месяца за два до этого я по предложению Толи дважды приезжал к ней в Комарово и возил ее и Толю по шоссе вдоль берега моря в сторону Выборга. Помнится, Анна Андреевна была очень довольна нашими мини-путешествиями. В каких-то глухих местах побережья мы по ее просьбе съезжали с шоссе и останавливались среди сосен, дюн и валунов вблизи береговой линии. Мы с Толей выходили из машины, а Анна Андреевна оставалась сидеть внутри, задумчиво обозревая взморье. По возвращении с прогулки я получал чай с вареньем на веранде ее дачи и очаровательный застольный разговор, причем говорила в основном она, только Толя иногда включался в беседу, а я помалкивал от смущения. Кажется, лишь один раз я решился встрять в разговор, вспомнив об автомобильных мотивах у Северянина. Что-то вроде: «И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, / Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом...» И, помнится, Анна Андреевна тогда сказала: «Да, да, мы все тогда очень любили катанья на авто». Во второй и последний мой визит к ней на дачу я получил в благодарность кроме чая с вареньем фотокопию ее знаменитого портрета работы

Юрия Анненкова, с автографом «ААА». Теперь этот портрет висит над моим письменным столом.

Но вернемся к Лева Друскину. Визит наш к Ахматовой, на мой взгляд, в высшей степени удался. Лева подробно описал его в «Спасенной книге», и вот замечательное из нее стихотворение:

Вдоль моря, вдоль моря — к ахматовской даче!
Дорога витками ведет на Парнас.
Дома и деревья желают удачи,
И небо стихи повторяет для нас.
И вот из-за дома тропинкою узкой,
Мелькнув силуэтом на фоне ветвей,
Выходит к нам слава поэзии русской
В старинной и черной накидке своей.
Ну что ж ты притих? Не теряйся! Не мешкай!
Но мысли быстрее запнувшихся слов:
Вот это — рука, написавшая «Решку»...
Вот в эти глаза заглянул Гумилев...
О грузная старость, почтенная старость!
Ты мне не помеха, ты — попросту ложь,
Тебя я не вижу, умерь свою ярость,
Ни слова — бессильная — ты не сотрешь.
Гляжу и молчу, будто книгу листаю,
Где в бронзу отлита любая строка.
А в бронзовом небе, как белая стая,
Свободно и сильно плывут облака.

Итак, я стал вхож в дом Левы, его жены чудесной Лили, ее матушки добрейшей Нины Ангоновны и дружелюбного пуделя Гека. Могу смело сказать, что этот открытый гостеприимный дом был одним из культурных центров Ленинграда 1960–1970-х годов. Помню появление там Михаила Михайловича Жванецкого с его затрепанным портфельчиком, из которого он доставал смятые бумажки и артистично читал по ним свои миниатюры и шутки. Я познакомился там с необычайно популярным тогда в Ленинграде Сергеем Юрским, слушал авторские песни под гитару Жени Клячкина, тогда очень известного барда, ныне, к сожалению, почти забытого. Запомнилась его песенка — «Сидишь беременная, бледная. / Как ты переменялась, бедная...». У Левы бывали мои друзья Саша Кушнер, Игорь Ефимов, Люда Штерн, Яша Гордин и многие другие. Запомнился визит Анатолия Бадхена, главного дирижера тогдашнего Ленинградского концертного оркестра. Он, кажется, пришел с одним из музыкантов, и они замечательно сыграли на фортепиано и саксофоне какую-то очень красивую вещь Леграна.

Несколько дней назад я позвонил Лиле в Тюбинген, где она сейчас живет, и мы вспомнили один смешной эпизод из ленинградской жизни Друскиных. В начале 1970-х годов, в канун какого-то из еврейских праздников, к ним с Главпочтамта поступило извещение о посылке, отправителем которой значился не кто иной, как Залман Шазар, тогдашний президент Израиля. Дело в том, что уроженец Минской губернии Шнеер Залмен Рубашов, или Залман Львович Рубашов, был двоюродным братом матери Левы. Почему-то он вспомнил о своем двоюродном племяннике и решил его порадовать. Мы представили себе, какой переполох это вызвало на Главпочтамте. А Лиля и Лева в радостном возбуждении обсуждали, какие при нашем тогдашнем дефиците соблазнительные вещи могли бы быть в посылке от президента Израиля. Тотчас же мы с Лилей отправились на моей машине за посылкой. Там мы получили здоровенную запечатанную картонную коробку и радостно отправились домой. Дома тут же ее вскрыли и обнаружили... несколько очень красивых упаковок высококачественной кошерной мацы. И ничего кроме — ни записочки, ни сувенирчика, ничего! Вот было смеху! Вскоре Лиля и Нина Антоновна устроили прием с поеданием мацы от президента Израиля. Понятно, кроме мацы на столе было много чего другого. Но помнится, мы с удовольствием поглощали мацу, густо намазывая ее маслом. Под влиянием съеденного и выпитого присутствовавший здесь Юра Варшавский тут же сочинил стишок:

Президенту не к лицу
Посылать сюда мацу.
У евреев на лице
Отвращение к маце.

Теперь несколько слов о Левиных стихах. В СССР он был членом Союза писателей и до эмиграции опубликовал шесть поэтических сборников. Его стихи, сегодня несправедливо подзабытые, мне очень нравились. Некоторые я даже запоминал наизусть и читал знакомым при случае. Не будучи профессионалом-филологом, не берусь подвергать разбору его поэтическое наследие. Но как простой читатель и любитель стихов скажу несколько слов о том, чем они меня привлекали. Это очень хорошо сделанные стихи, с четко сформулированной идеей, или месседжем, как сейчас говорят, то есть неким сообщением автора читателю. Причем эти сообщения отнюдь не банальны. В стихах Левы нет никаких жалоб на жизнь, ни малейшего намека на его инвалидность. Смысл его стихов не всегда безоблачно весел, иногда и печален, но все же, как правило, позити-

вен. Интересно, что автор в стихах выступает от лица обычного, во всех отношениях полноценного человека. Вот одно из моих любимых стихотворений Левы:

Ксеркс побежден. Бьют персов. Тонет флот.
Чужая боль. Чужая неудача.
Я удаляюсь от дневных забот.
Пронесят мимо раненых. Я плачу.
Сижу один. Обломки по воде
Плывут к столу и ранят мне колени.
И тонут корабли в кровавой пене:
В чужом несчастье и в моей беде.
И где мой дом — надежда и оплот?
И как мне жить? Я не могу иначе!
Ксеркс побежден. Бьют персов. Тонет флот.
Пронесят мимо раненых. Я плачу.

Обратите внимание — автор пишет, что он сидит, по-видимому, за столом, как и положено сочиняющему стихи поэту, и что при этом обломки кораблей, плывущие по воде, ранят ему колени. Очень яркий образ, выражающий сострадание и боль со стороны сильного полноценного человека, оплакивающего чужую беду. И подобных примеров в стихах Левы много.

Перехожу к драматическим событиям, предшествовавшим отъезду Левы, Лили, Нины Антоновны и пуделя Гека за границу. Тут, на мой взгляд, сыграли роковую роль два обстоятельства. Первое заключалось в том, что открытый дом Левы Друскина привлекал не только обширный круг друзей, но и иностранцев, посещавших Ленинград. Это были в первую очередь стажировавшиеся у нас студенты-слависты. Их направлял к Леве эмигрировавший ранее приятель Левы Володя Фрумкин, преподававший в одном из колледжей в США. Володя стремился к тому, чтобы, общаясь с литературными кругами Ленинграда, студенты быстрее усваивали русский язык и знакомились с русской литературой. Естественно, в результате за квартирой Левы в середине 1970-х годов была установлена слежка. В процессе слежки, по-видимому, выяснилось, что Лева пишет книгу воспоминаний, получившую впоследствии название «Спасенная книга». В ней советская действительность, и в частности литературная среда в Ленинградском отделении Союза писателей, были описаны с достаточной откровенностью. Лева намеревался издать рукопись с купюрами в журнале «Нева», а полный текст оставить до лучших времен. Под предлогом поиска наркотиков 16 апреля 1980 года в квартире Левы

был устроен обыск. Была изъята рукопись Левиных воспоминаний и несколько заграничных изданий. КГБ передал рукопись в правление Союза писателей. В результате Лева был исключен из Союза. Его судьба была предрешена. Возникла реальная угроза высылки из страны. Между тем Лева никогда не хотел покидать родину. Об этом свидетельствует стихотворение, написанное за некоторое время до его отъезда в годы массовой эмиграции друзей и знакомых:

Хотите я вам нарисую
Две лодки и два корабля,
И землю, с которой простился?
Пускай уплывает земля!
Пускай уплывает, не жалко...
Зачем она машет плащом?
Полжизни на ней протрубили,
Полжизни осталось еще.
Уходит она в повороте,
Который не преодолеть...
Пускай уплывает, не жалко...
Ах лучше бы мне умереть!

Друскины покинуть СССР были вынуждены. Еще до обыска Лева успел переправить копию своих воспоминаний за границу. После его эмиграции «Спасенная книга» была опубликована в Лондоне.

Опишу кратко, как эти события повлияли на судьбы друзей Лева, и в частности на мою. КГБ позаботился о том, чтобы практически все мы так или иначе пострадали. Одних уволили с работы, другие были понижены в должности. Все это детально описано в «Спасенной книге». Однажды осенью 1980 года (точную дату не помню) меня вызвали в дирекцию родного Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе. Там в большом директорском кабинете за столом заседаний расположились какой-то высокий чин из КГБ, секретарь парткома института, председатель профкома, двое или трое моих коллег по лаборатории и, конечно же, директор института академик Владимир Максимович Тучкевич. Представитель КГБ кратко проинформировал присутствовавших о моих связях с окружением антисоветчика Льва Друскина, потребовал моего осуждения на общем собрании работников института и принятия ко мне суровых мер. Я сказал в ответ, что меня со Львом Савельевичем Друскиным связывают только чисто человеческие отношения и стремление оказывать ему как инвалиду бытовую помощь. Присутствующие, исключая моих коллег, выступили с предложением осудить меня прямо сейчас. Мои коллеги, стремясь меня защитить,

предложили ограничиться только словесным осуждением. На этом директор закрыл совещание, и я покинул кабинет. К концу дня Владимир Максимович вновь пригласил меня к себе. На этот раз он был один. Помню, я направился было к письменному столу, за которым он сидел, но он пригласил меня в дальний угол обширного кабинета, где стояли торшер и журнальный столик. Эти детали явно располагали к неформальной беседе. Устроившись под торшером, Владимир Максимович обратился ко мне со следующим предложением. Он сказал, что не хотел бы увольнять меня из института (я тогда уже был доктором физико-математических наук и лауреатом Государственной премии, и намечалась еще одна), но КГБ требует лишить меня допуска к секретным работам, а это автоматически означает увольнение. Он продолжал, что договорился с КГБ о понижении мне допуска при условии, что я прекращу все контакты с Львом Друскиным. «Учтите, — сказал он, — квартира Друскина под контролем». Мне оставалось согласиться, что я и сделал. Порядочный, благородный Владимир Максимович! Он всегда помогал сотрудникам института в их трудных ситуациях. Помог и мне, очевидно, используя свое влияние в качестве уполномоченного Президиума АН СССР по Ленинграду. Вечная ему память! Кстати, буквально через три месяца всем научным сотрудникам нашей и некоторых других лабораторий в общем порядке понизили допуск. Так я сохранил свое положение в институте, но, увы, ценой разрыва с Левой.

Теперь мои связи с ним поддерживались лишь косвенно, через общих друзей. Кроме того, моя тогдашняя жена Мия Гильо продолжала звонить Друскиным и навещать их. Так что я получал полную информацию о том, что у них происходит, продолжая выполнять обещание, данное мной Владимиру Максимовичу, и нарушив его лишь в день отъезда Друскиных, 20 декабря. Я узнал, что в этот день они отправляются в аэропорт в семь часов утра. Они были предупреждены, что я заеду к ним попрощаться часа за два до их отъезда, то есть в пять утра.

Итак, рано утром я отправился в путь на своем «москвиче». В это промозглое декабрьское время город был пуст и темен. Я оставил машину за несколько кварталов от дома Левы, подошел к нему по противоположной стороне улицы, убедился, что улица пуста, ни машин, ни прохожих нет. После этого я с опаской вошел в подъезд, где тоже было пусто. В квартире — предотъездный кавардак, в прихожей — упакованный багаж. Лева лежал на своей тахте уже полностью одетый. Я бросился к нему, мы обнялись и оба разрыдались: мы были уверены, что прощаемся навсегда. Затем Лева протянул мне листок

бумаги с текстом, написанным от руки его игольчатым крупным почерком («где почерк был иглист, / Как тернии» — по Пастернаку):

Мише Петрову

Милый друг, обрывается нить.
Вот и не о чем нам говорить,
Лишь глядим друг на друга в печали.
Жалок дружбы последний улов...
Не находим ни мыслей, ни слов —
Даже души у нас замолчали.
Но лежит (хоть надежда слаба)
Где-то там золотая труба,
И Архангел к ней губы приложит.
И тогда мы сойдемся опять,
На земле или нет — не понять,
И узнаем друг друга, быть может.

Прочитав это стихотворение, я положил листок в карман, наспех попрощался со всеми, вышел в «зловещий деготь» ленинградской декабрьской тьмы и в глубокой печали побрел к машине.

Р. С. Золотая труба для нас слевой все-таки протрубила, и довольно скоро. В 1987 году в связи с начавшейся перестройкой с меня было снято клеймо невыездного, и я отправился в длительную научную командировку в Институт физики плазмы им. Макса Планка близ Мюнхена. Оттуда при первой же возможности я рванул в Тюбинген, получил возможность обнять Леву и Лилию и погостить у них.

В следующем, 1988 году я, на этот раз с женой Майей Самсоновой, вновь оказался в Институте Макса Планка, и мы ринулись в Тюбинген к Друскиным на выходные. Казалось бы, вот начинается новая счастливая фаза нашей дружбы слевой, когда можно свободно общаться и видеться хоть каждый год. Но, увы! После тяжелой болезни и нескольких операций в 1990-м Левушка скончался.

Добавлю, что его «Спасенная книга» была издана в России в 1993-м и переиздана в 2001 году. Наша дружба сего вдовой Лилей продолжается. Она дважды приезжала в Петербург, мы часто переписываемся и звоним друг другу.

Михаил Петров

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Городницкий. «Я вернусь в свой расстрелянный город». . . . 5

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

«Эшелон составлен не по форме...»	11
«Был соперник счастливый...»	12
«А мы разжигали...»	13
Сказка	14
«На сцене, под прожекторным лучом...»	15
« — Кем ты хочешь быть на бригантине?...»	16
«Муравей — Самсон, Поддубный скромный...»	17
«Спроси стрижей...»	18
«Сегодня, в колокольный день Шекспира...»	19
Первая книжка	20
«Спасибо за движение!...»	21
«Касанье взглядов и локтей...»	22
Плохое настроение	23
Ревность	24
«Там ива, опираясь на костыль...»	25
«Не пусти меня по миру, по миру...»	26
«Когда душа в тревоге чудной...»	27
«Утро — босое, озябшее...»	28
«Он раскинулся щедро, рубаху сорвав...»	29
Невеста Икара	30
«Свернем сюда, не надо напрямиком...»	31
Мой дед	32
«Леса набросаны вчерне...»	33
«Литейный цех земли, плавильня...»	34
Сюита Баха «На отъезд любимого брата»	35
«Я новый день — мешком на плечи...»	36
«Я слышу, как скрипит земная ось...»	37
«Нас Летний сад не водит за нос...»	38
«Зачем тоскуешь серыми глазами?...»	39
«Леса темные провалы...»	40
Утро в Зеленогорске	41
«Была уютной тишина...»	42
«Скрипит поселок дачный...»	43
«Акробаты, акробаты...»	44

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

«Записная книжка, адреса друзей...»	45
«Бог порога, Бог двери...»	46
«Я понял нынче утром...»	47
«Поляны под снегом мокрым...»	48
«Лес на марше, деревья на марше...»	49
«В сердце корочкой стучащий...»	50
«Испортился барометр старинный...»	51
«Мой добрый нож, тебя беру я в руки...»	52
«Монета блещет по краям...»	53
Дуб	54
«Мой заветный город Китеж...»	55
«Я отыскал безлюдное местечко...»	56
Монолог ручья	57
«Еще ворон простуженные глотки...»	58
«Ты говоришь: я очень постарел...»	59
«Ну-ка, Бобышев, курнем...»	60
«А парень говорил, колено обхватив...»	61
«Сколько было крыш чужих...»	62
«Путешествие в Опочку...»	63

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

«Звезда покатила над степью, над степью...»	64
«На берегах расплавленной Невы...»	65
«Оставим город стыдный...»	66
Колоколу Ростова Великого	67
Осенняя песня	68
«Маршак сидит в халате и брюжит...»	69
Два сонета	70
«Я стою в темноте, в окна черные ломится проза...»	71
«Жить бы мне в Греции древней, воспетой стократно...»	72
«Я — Прометей. Орел мне печень рвет...»	73
«Восходят дыма смуглые колечки...»	74
«Грибоедов и Пушкин, и Лермонтов тоже...»	75
«Мы снова затеяли перестановку...»	76
«И сказал мне парикмахер слова...»	77
«Что же ты, детство, меня уверяло?...»	78
«На снегу стоят дома...»	79
«Сердца жесткие удары...»	80
«Ниобея моя, Ниобея!...»	81
«Когда гроза безумствует над крышей...»	82
«И кто-то тихонечко стукнул в стекло...»	83

«Убей змею — и семь грехов простится...»	84
«Мы оставим за спинами города гром...»	85
«Вот и открылся ящик Пандоры...»	86
Две песни	87
«Кроткий лик на свирепом металле...»	89
«Какой-нибудь насквозь соленый шкипер...»	90
«Над пониқшим садом...»	91
«Дорога к озеру спускалась...»	92
«Забившись в табакoм пропахшую берлогу...»	93
«Вот дама с насморком, вся в черном и шуршащем...»	94
«Тяжелую шляпу в руках теребя...»	95
«В пяти телегах ехали цыгане...»	96
«Я хотел бы в этой будке...»	97
«Вы мне спойте, Надежда Андреевна...»	98
«Мушкетеры господина де Тревиля...»	99
«Девчoнки длинноногие! Не мне...»	100
«Я не пишу стихов, и это так прекрасно!..»	101

НАЧАЛО ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

«Черный камень Каабы...»	102
«Дождь моросит и в Лондоне, и в нашем...»	103
«А во дворе строительный разброд...»	104
«Эти угрозы...»	105
«Когда на лес упала...»	106
«Давайте пойдeм на бульвар Капуцинок...»	107
«Эта девочка — Нанá...»	108
«А мы запрячемся в строке...»	109
Буквы	110
«Собственно, день этот — резкий и пыльный...»	111
Странствующий философ	112
«Ах, разорен мой сад...»	113
«Чужого Брокена сестра...»	114
«Мы вышли в полдень на опушку...»	115
«Звенели осы в синий зной...»	116
Песня	117
«Ксеркс побежден. Бьют персов. Тонет флот...»	118

РАССЫПАННАЯ КНИГА

«Отчего я так дивно устроен...»	120
«А озеро внезапно на меня...»	121
«Та колоколенка, что притворилась...»	122

«В лесу осеннее „увы“...»	123
«Идут солдаты и шаг чеканят...»	124
«У меня была бабушка Мирра...»	125
«Дом из прессованного картона...»	126
«Хоть я тебя люблю и почитаю...»	127
«Глянешь в небо — и утопишь взор...»	128
«Епископ был убит из арбалета...»	129
«Здесь жили так же, как во всех больницах...»	130
«Такая злость, такая здесь тоска...»	131
«Почему на столе моем краска вздулась буграми?...»	132
«Дьявол шапку снимает...»	133
«Окоем! Как много...»	134
«А соседи говорят...»	135
«Не надо, не злословь...»	136
«Город серый и сердитый...»	137
«Стреляла крепость. Было ей прожить...»	138
«Извозчичья пролетка...»	139
Осень	140
«Бирнамский лес пошел, и некуда деваться...»	141
Старый замок	142
«Я Геккельберри Финн...»	143
«Не угадаешь век по фарам...»	144
Галлюцинация	145
Баллада	146
Коктебель	147
«Грек босоногий — сатир, виночерпий...»	148
«Дорбга, дорбга, дорбга...»	149
«Нет, никогда календарю...»	150
«Эта родинка-нахалка...»	151
Цирцея	152
«Наступают уже холода...»	153
«А небо обрывается у ног...»	154
«О древний рог, столетья спавший в глине...»	155
«Пишу статьи и занимаюсь прозой...»	156
«Других другим рассказом осчастливьте...»	157
«Судите и да будете судимы!..»	158
«Когда я вижу Борю Зеликсона...»	159
«Говорят, что японцы нашли Атлантиду...»	160
«А он за мидиями плавал...»	161
«Скрипок острые выкрики...»	162
«К старухе — горестной и умной...»	163
Памяти Мандельштама	164

«Старинной музыки красоты...»	165
«Четырнадцатого числа...»	166
«Часы висят над грудой книг...»	167
«Выступают сверчки...»	168
«Я в зеркало стараюсь не глядеть...»	169
«„Gib meine Jugend mir zurück!“ ...»	170
Песнь песней.	171
«Скажи, чего ты хочешь?...»	172

ЗА ПЕРЕВАЛОМ

«А как вещи мои выносили...»	175
«Мне снился отъезд мой — всё тот же, точь в точь...»	176
«И ни двора, и ни кола...»	177
«Никогда не видать тебе, вьюга...»	178
«К нам из Штутгарта звонят...»	179
«Ой, Алеша...»	180
«Закрой глаза — и ты опять в России...»	181
«Давай от мыслей хмурых.	182
«А вечером я уходил туда...»	183
«Никогда я прежде не был...»	184
Рим.	185
«В окно глазели вафельные крыши...»	186
«Когда я брел в ночи обманной...»	187
«Не падай, Пизанская башня, не падай...»	188
«Ива-ивушка прилегла...»	189
Песня.	190
«Семейные дела, шоссеиные тревоги...»	191
«Сижу один. Доедаю...»	192
«Моя жена в тени...»	193
«Ну что ж, тра-та-та, мы прожили неплохо...»	194

СТИХОТВОРНЫЕ ЦИКЛЫ

Ленинградский венок сонетов	197
Большая дорога — большая печаль	204
Реквием.	208
Заплачу о неверии своем	212
<i>Михаил Петров. Памяти Льва Друскина</i>	218

Друскин Л.

Д 76 У неба на виду. Избранные стихотворения. — СПб.: ООО «Журнал «Звезда», 2021. — 232 с.

ISBN 978-5-7439-0268-2

Жизнь и творчество Льва Друскина (1921–1990), одного из наиболее значительных русских поэтов второй половины XX века, неразрывно связанные с его родным городом, стали органически необходимым звеном между поэтами Серебряного века и новым поколением питерских поэтов шестидесятых годов. Унаследовав от Маршака (своего первого учителя) и дружившей с ним Анны Андреевны Ахматовой привязанность к традиционной силлабо-тонической русской поэзии, он, по существу, явился предтечей ленинградской школы поэтов, с которой связаны имена Иосифа Бродского, Александра Кушнера и Виктора Сосноры.

ББК 84.Р7

ЛЕВ
ДРУСКИН
У неба на виду
Избранные стихотворения

Компьютерная верстка *В. М. Бердника*
Корректор *Н. В. Нестерова*

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Журнал «Звезда».
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20.
Отдел реализации: (812) 273-37-24; mail@zvezdaspb.ru

Подписано к печати 20.05.2021. Формат 60×88 1/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 6. Усл. печ. л. 12,18. Тираж 300 экз. Заказ № 36.

Отпечатано в «ИПК „Бионт“»
199026, Санкт-Петербург, В. О. Средний пр., 86. тел. (812) 207-52-85



Жизнь и творчество Льва Друскина (1921–1990), одного из наиболее значительных русских поэтов второй половины XX века, неразрывно связанные с его родным городом, стали органически необходимым звеном между поэтами Серебряного века и новым поколением питерских поэтов шестидесятых годов. Унаследовав от Маршака (своего первого учителя) и дружившей с ним Анны Андреевны Ахматовой привязанность к традиционной силлабо-тонической русской поэзии, он, по существу, явился предтечей ленинградской школы поэтов, с которой связаны имена Иосифа Бродского, Александра Кушнера и Виктора Сосноры.

Александр Городницкий

журнал **ЗВЕЗДА**

ISBN: 978-5 7439 0268 2



9 785743 902682